

НИКАКОГО СМЫСЛА

The background of the cover is a dramatic, low-angle shot of the Leaning Tower of Pisa. The tower is dark and appears to be crumbling or exploding. A massive, chaotic cloud of red, translucent, geometric shapes (cubes, pyramids, prisms) erupts from the top of the tower, filling the upper half of the frame. The overall color palette is dominated by deep reds, blacks, and greys, creating a sense of destruction and intellectual chaos.

Манифест против
интеллектуального
высокомерия

Joaquim Marten

Joaquim Marten

Никакого смысла

«Автор»

2026

Marten J.

Никакого смысла / J. Marten — «Автор», 2026

Я не предлагаю смысл. Я показываю, из чего сделана потребность его искать. Эта книга - не утешение и не отчаяние. Это разбор: абсолютных концепций, истории, языка, собственного разума - механизма за механизмом, без исключения для тех выводов, которые касаются автора этих строк тоже. Три части. Сначала - большие конструкции, которыми разум закрывает вопрос о хаосе. Затем - сам разум, который производит эти конструкции быстрее, чем любая терапия успевает их демонтировать. И наконец - то, что остаётся, когда демонтаж закончен. Ничего не остаётся. Это не трагедия. Это просто точное описание. Если вы дочитаете до конца, утешения не будет. Будет тишина - и, возможно, впервые за долгое время, ясность.

© Marten J., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть I. Крах концептуального насилия	5
Глава 1. Проклятие поиска глубины	5
Глава 2. Симуляция понимания	24
Глава 3. Конец великих нарративов	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Joachim Marten

Никакого смысла

Часть I. Крах концептуального насилия

Глава 1. Проклятие поиска глубины

«Тот, кто ищет архитектора хаоса, находит только собственное отражение в зеркале без амальгамы.»

1. Постановка диагноза

Поиск глубины требует диагноза прежде, чем какого-либо разбора его конкретных продуктов — теологии, теории заговора, алгоритмической мистики, философской системы. Диагноз предшествует разбору симптомов, потому что без него разбор неизбежно превращается в очередной симптом: в перечисление конкурирующих глубин, среди которых якобы предстоит выбрать наиболее достоверную. Ни одна из них не достовернее прочих, потому что все они производятся одним и тем же дефектным механизмом, реагирующим на одно и то же невыносимое условие.

Условие формулируется коротко: реальность, доступная рефлексирующему субстрату через органы восприятия и через производимые этим субстратом модели, не содержит встроеной иерархии значимости. События происходят рядом друг с другом, иногда последовательно, иногда одновременно, без обязательства складываться в сюжет. Когнитивный процессор, эволюционно усложнившийся сверх меры, необходимой для прямого реагирования на стимулы, оказался способен заметить это отсутствие иерархии — и именно эта способность стала источником специфического, неустранимого дискомфорта, для купирования которого был изобретён весь репертуар конструкций, разбираемых далее.

Глубина — не открытие. Это анестезия, выданная за открытие.

Важно с самого начала развести два совершенно разных утверждения, которые в обыденном рассуждении постоянно смешиваются. Первое: структуры, которые обнаруживаются в мире — физические законы, математические закономерности, статистические регулярности, — иллюзорны. Эту позицию последующий анализ не разделяет и разделять не намерен; закономерности, поддающиеся проверке и предсказанию, существуют в той мере, в какой существует устойчивость материала, который они описывают. Второе утверждение, напротив, составляет ядро всего дальнейшего разбора: потребность интерпретировать любую закономерность как знак присутствия скрытого замысла, адресата или цели есть когнитивный саботаж, не имеющий отношения к проверяемости самой закономерности. Закон всемирного тяготения проверяем. Идея о том, что тяготение было кем-то задумано для какой-то цели, — нет, и именно вторая идея составляет предмет критики, а не первая.

Смешение этих двух уровней — единственный по-настоящему устойчивый механизм, посредством которого поиск глубины защищает себя от деконструкции. Всякий раз, когда кто-либо указывает на необоснованность веры в скрытый замысел, защитная реакция апеллирует к реальности проверяемых закономерностей, как если бы критика замысла автоматически была критикой закономерности. Эта подмена позволяет поиску глубины маскироваться под рациональность, заимствуя авторитет точного знания для обоснования метафизического допущения, которое точное знание никогда не делало и не обязано делать.

2. Архитектура тревоги перед хаосом

Тревога, о которой идёт речь, не тождественна страху перед конкретной угрозой. Страх перед конкретной угрозой имеет объект, имеет начало и конец, разрешается устранением или избеганием источника опасности. Тревога перед хаосом структурно иная: у неё нет объекта, потому что её источником является не происходящее событие, а сама форма происходящего — его необусловленность, его равнодушие к категориям, которыми рефлексирующий субстрат пытается его описать. Эта тревога не разрешается устранением источника, потому что источник совпадает с условием существования как таковым.

Когнитивный аппарат, столкнувшись с тревогой, не имеющей объекта, делает единственное, на что он способен в силу собственной архитектуры: конструирует объект задним числом. Это конструирование не является сознательным обманом — оно происходит на уровне, предшествующем рефлексии, в самой процедуре сборки модели мира из поступающих данных. Процессор не различает данные, действительно содержащие структуру, и данные, в которые структура была привнесена самим процессом интерпретации; для него оба класса данных субъективно неотличимы, что и составляет техническую основу для производства аттракторов смысла там, где их нет.

Тревога без объекта находит себе объект так же неизбежно, как вода находит трещину.

Существенно, что архитектура тревоги перед хаосом не ослабевает с накоплением образования или с увеличением доступа к проверенному знанию. Это противоречит распространённому допущению, согласно которому просвещение, понимаемое как процесс накопления научно подтверждённых фактов, постепенно вытесняет иррациональные формы поиска глубины более точными. На практике происходит иное: образованный рефлексирующий субстрат не перестаёт нуждаться в аттракторе смысла, он лишь меняет материал, из которого этот аттрактор конструируется, заменяя теологическую терминологию квазинаучной. Конструкция остаётся идентичной по функции; меняется лишь словарь, придающий ей респектабельность в конкретной культурной среде.

Это наблюдение объясняет, почему интеллектуально изощрённые версии поиска глубины — симуляционная гипотеза, алгоритмический детерминизм, квантово-мистические интерпретации сознания — оказываются не более устойчивыми к критике, чем их архаические предшественники, а часто менее устойчивыми, поскольку претендуют на эпистемологическую строгость, которой не обладают. Чем выше заявленная строгость конструкции, тем заметнее зазор между этой претензией и фактической непроверяемостью центрального допущения о наличии скрытого замысла.

Тревога перед хаосом есть постоянная величина, варьирующаяся не по интенсивности в зависимости от уровня образования, а исключительно по форме маскировки, которую принимает производимый ею аттрактор. В этом и заключается проклятие поиска глубины: не единственный акт заблуждения, который можно было бы исправить дополнительной информацией, а структурное условие самой рефлексирующей архитектуры, воспроизводящее себя в любой доступной системе понятий.

3. Концепт абсолюта как ранняя версия аттрактора

Религиозно-философские системы исторически были первой масштабной и наиболее устойчивой формой аттрактора смысла, и рассмотрение их в качестве таковых — не как предмета веры или неверия, а как раннего технического решения определённой когнитивной задачи — обнажает структуру, общую для всех последующих модификаций этого паттерна. Задача формулируется так: каким образом конечный, рефлексирующий узел может выдержать соприкосновение с системой, превышающей его по масштабу на множество порядков и не дающей никаких признаков адресности по отношению к нему. Решение, найденное теологической традицией, состоит в постулировании трансцендентного аттрактора — абстрактной модели абсолюта, — который эту адресность обеспечивает по определению: всё происходящее происходит для кого-то и ради чего-то, потому что за происходящим предполагается воля или замысел.

Эффективность этого решения объясняется не вопросом его метафизической истинности — вопрос истинности здесь вообще не первичен для настоящего анализа, — а его структурным соответствием форме самой тревоги, которую оно призвано снять. Тревога перед хаосом есть тревога перед отсутствием воли, стоящей за событиями; постулирование воли устраняет именно этот элемент, и устраняет с максимальной экономией средств: единственное допущение порождает целую архитектуру ответов на вопросы о происхождении, цели, морали и посмертной судьбе одновременно. Никакая позднейшая, более изощрённая конструкция не достигла сопоставимой экономичности.

Концепт абсолюта — наиболее компактная из всех известных семиотических моделей: одно допущение закрывает все вопросы сразу.

Анализ, предлагаемый здесь, принципиально отличается от стандартной полемики о существовании или несуществовании конкретных божеств, выстраиваемой вокруг вопросов проверяемости, наличия эмпирических доказательств или логической согласованности конкретных теологических построений. Эти вопросы остаются внутри той же игры — игры в установление истинности утверждений о скрытом замысле, — структура которой сама и является предметом настоящей деконструкции. Критик, отвергающий конкретную теологическую модель ссылаясь на отсутствие доказательств, как правило, продолжает искать иной, более удовлетворительный аттрактор: прогресс, разум, гуманизм, — и тем самым воспроизводит тот же когнитивный паттерн в секуляризованной упаковке.

Историческая устойчивость религиозно-философских систем, переживших смену цивилизаций, языков и экономических укладов, не свидетельствует об их метафизической истинности, но свидетельствует с исключительной убедительностью о глубине структурного соответствия между этими системами и архитектурой когнитивного аппарата, их производящего. Модель, столь точно отвечающая на тревогу, не нуждающуюся в проверке для своего возникновения, не нуждается в проверке и для своего воспроизводства; она самоподдерживается самим фактом снятия тревоги, независимо от любых аргументов за или против её содержания.

Ослабление институциональных позиций конкретных религиозных традиций в определённых культурных регионах в историческое Новое время не означает угасания самой функции, которую эти системы выполняли. Функция переместилась в новые конструкции, сохранив архитектурное ядро — постулирование адресности там, где наблюдаемый материал адресности не предъявляет.

4. Теологическая система как ранний алгоритм

Если рассматривать религиозно-философскую систему не как набор утверждений о трансцендентном, а как процедуру обработки входных данных, обнаруживается, что она представляет собой ранний, нетехнический, но полностью функциональный алгоритм: фиксированный набор правил, применяемых к любому поступающему событию для получения на выходе объяснения, предписания и эмоциональной развязки. Засуха, болезнь, военное поражение, рождение ребёнка — каждое из этих событий проходит через одну и ту же процедурную воронку и выходит из неё снабжённым причиной, моралью и инструкцией к действию.

Точность этой процедуры в предсказательном смысле не имеет значения для её устойчивости — и в этом заключается принципиальное отличие подобного алгоритма от научного метода, с которым его иногда ошибочно сравнивают по формальному критерию системности. Научный метод включает процедуру опровержения: предсказание, не подтвердившееся данными, обязывает пересмотреть модель. Рассматриваемый алгоритм такой процедуры не содержит структурно: неподтвердившееся предсказание не опровергает систему, а интерпретируется как испытание или временная недоступность замысла наблюдению — то есть любой исход данных конвертируется обратно в подтверждение исходного допущения.

Алгоритм, который нельзя опровергнуть, — это не алгоритм истины, а алгоритм утешения.

Именно эта неопровержимость, которую иногда ставят в упрёк сторонники строгого эмпиризма, составляет главную причину функциональной эффективности подобных систем как инструмента снижения когнитивной тревоги: неопровержимая модель идеально пригодна для купирования тревоги, потому что никогда не возвращает рефлексирующий субстрат в исходное, незащищённое состояние перед лицом необусловленных данных. Каждое новое событие, сколь угодно противоречащее предыдущим предсказаниям системы, поглощается ею без остатка и без необходимости пересмотра.

Ритуальная сторона подобных систем заслуживает отдельного замечания: повторяемые, стандартизированные действия — молитва в установленное время, соблюдение пищевых предписаний, циклические праздники — выполняют функцию рамки, дробящей неструктурированное течение существования на управляемые, предсказуемые единицы, каждая из которых снабжена заранее известным значением. Ритуал — это не просто выражение веры в содержательные утверждения теологии; это самостоятельный, не зависящий от содержательной веры механизм снижения тревоги через навязанную регулярность и коллективную практику, имеющую самостоятельную социальную и психологическую ценность для практикующего сообщества.

Ослабление институциональных религиозных практик в части культурных регионов не сопровождалось угасанием потребности в алгоритмической обработке событий с гарантированной развязкой. Эта потребность была переадресована новым системам — психологическим, технологическим, идеологическим, — унаследовавшим процедурную форму раннего аттрактора при существенном изменении его содержания.

5. Матрица: цифровой ремейк трансцендентного

Симуляционная гипотеза в её современной популярной форме — допущение о том, что воспринимаемая реальность есть результат работы вычислительной системы, управляемой неким внешним по отношению к симуляции агентом или процессом, — представляет собой структурно точный ремейк теистической архитектуры с заменой единственного элемента: место воли, не поддающейся техническому описанию, занимает воля, описываемая в категориях, заимствованных из вычислительной техники. Замысел сохраняется. Адресат сохраняется. Меняется только словарь, в котором эти категории формулируются, и этот словарь воспринимается как более достоверный исключительно потому, что заимствован из области, обладающей в данный культурный момент высоким эпистемологическим статусом.

Привлекательность данной гипотезы для рефлексирующего субстрата, осведомлённого о вычислительных системах, объясняется тем же механизмом структурного соответствия, что и привлекательность теизма: гипотеза устраняет тревогу перед необусловленностью, постулируя, что за плоской поверхностью наблюдаемых событий стоит код, то есть структура, в принципе поддающаяся дешифровке тем же типом интеллекта, который эту гипотезу выдвигает. Ни одна версия симуляционной гипотезы, получившая широкое распространение, не предполагает, что управляющий код принципиально недоступен для понимания постулирующего его субстрата. Антропоцентрическая гордыня здесь проявляется не в претензии на центральное место во вселенной, как в архаических космологиях, а в более тонкой форме: в допущении, что архитектура реальности устроена так, чтобы быть в принципе совместимой с категориями мышления, которое эту архитектуру обнаруживает.

Симуляция — это бог, переодетый в код, чтобы понравиться поколению, не верящему в богов.

Существенно, что симуляционная гипотеза в подавляющем большинстве её формулировок не предлагает и не может предложить ни одного эмпирического критерия, отличающего симулированную реальность от несимулированной, что выводит её за пределы проверяемых утверждений и помещает в ту же категорию неопровержимых конструкций, что и теологические системы. Это не случайная методологическая слабость, устранимая более изощрённой

формулировкой гипотезы; это структурная необходимость, без которой конструкция утратила бы способность выполнять свою главную функцию — оставаться неопровержимой и тем самым гарантированно купировать тревогу при столкновении с любыми данными.

Допустим на мгновение, в порядке методического допущения, что воспринимаемая реальность действительно есть результат работы внешней вычислительной системы. Данное допущение немедленно порождает идентичный по структуре вопрос относительно среды, в которой эта внешняя система функционирует: является ли она сама симулированной, и если нет, то чем объясняется её статус несимулированной основы. Гипотеза не отвечает на этот вопрос — она лишь откладывает его, создавая иллюзию объяснения через формальную процедуру регресса, обрывающегося произвольно, там, где рефлексизирующему субстрату становится комфортно остановиться. Структурное сходство между «Богом, создавшим мир, причина которого не нуждается в дальнейшей причине» и «программистом, создавшим симуляцию, причина существования которого не задаётся» демонстрирует, что регресс обрывается не там, где это логически оправдано, а там, где обрыв психологически приемлем для конкретной культурной среды, формулирующей вопрос.

Объяснение, порождающее тот же вопрос на следующем уровне, не является объяснением. Оно является отсрочкой.

Редукция, о которой идёт речь на всём протяжении этого разбора, в данном конкретном случае проявляется как редукция избыточного допущения: симуляционная гипотеза вводит в модель мира сущность — внешнюю вычислительную систему и её оператора, — существование которой не требуется ни для одного из наблюдаемых явлений и не предсказывает ни одного нового наблюдения, отличного от предсказаний модели, эту сущность не постулирующей. Введение подобной сущности оправдано не эпистемологически, а исключительно психологически — потребностью в адресате.

Эстетика повествований о пробуждении от иллюзии, о герое, обнаруживающем скрытую архитектуру за фасадом обыденности, заслуживает отдельного комментария: такие сюжеты воспроизводят древнейшую повествовательную структуру духовного посвящения, лишь перенесённую в эстетику вычислительной техники. Зритель или читатель, переживающий катарсис узнавания при знакомстве с подобным сюжетом, переживает не интеллектуальное озарение, а узнавание знакомой формы аттрактора, эмоционально откалиброванной поколениями предшествующих повествований того же типа.

Отказ от симуляционной гипотезы, равно как и от любой структурно идентичной ей конструкции, не требует доказательства её ложности — задача доказательства ложности неопровержимого утверждения логически невыполнима и не должна ставиться. Требуется лишь признание того, что гипотеза не выполняет объяснительной работы, которую от неё интуитивно ожидают, и что её привлекательность целиком объясняется функцией купирования тревоги, а не функцией приближения к точному описанию материала. Распространение этой гипотезы в кругах, формально приверженных научной рациональности, демонстрирует с особой ясностью общий тезис: уровень образования не снижает потребность в аттракторе смысла, а лишь определяет словарь, в котором этот аттрактор будет сформулирован для конкретной аудитории. Технически подкованный рефлексизирующий субстрат конструирует технически звучащего бога с той же неизбежностью, с какой земледельческое общество конструировало бога урожая.

6. Конспирология как демократизированная теология

Конспирологические конструкции, при всей кажущейся противоположности их содержания официальным институциональным нарративам, которым они себя противопоставляют, воспроизводят теологическую архитектуру с минимальными модификациями: место божественного провидения занимает скрытая группа агентов, обладающих знанием и намерением, которых лишено большинство наблюдателей; место грехопадения — сокрытие истины этой

группой; место откровения — пробуждение отдельного субъекта, обнаружившего паттерн там, где остальные видят случайность.

Демократизирующий элемент конспирологии, отличающий её от классической теологии, заключается в распределении ролей: в теистической системе откровение, как правило, иерархически опосредовано — обычному субъекту оно доступно через институт, обладающий монополией на интерпретацию. Конспирологическая конструкция предлагает каждому отдельному узлу прямой, неопосредованный доступ к статусу обладателя скрытого знания при условии достаточной бдительности и готовности соединить точки. Это делает конспирологию структурно более привлекательной в культурной среде, ценящей индивидуальную автономию выше институционального авторитета, не меняя при этом базовой функции конструкции — обеспечения адресности происходящего.

Конспиролог не разоблачает заговор. Он назначает себе автора у мира, отказавшегося иметь автора.

Существенно, что объяснительная сила конспирологических конструкций обратно пропорциональна требуемому объёму координации между постулируемыми агентами: чем масштабнее и древнее предполагаемый заговор, тем менее правдоподобной становится его операционная реализуемость и тем сильнее, при этом, эмоциональная привлекательность конструкции для её сторонников. Это противоречие неразрешимо в терминах правдоподобия, потому что правдоподобие никогда не было критерием отбора конструкции; критерием была и остаётся эффективность купирования тревоги перед необусловленностью, а эта эффективность возрастает, а не убывает, с масштабом постулируемого замысла.

Структурная неопровержимость, отмеченная ранее применительно к теологии и симуляционной гипотезе, проявляется в конспирологии в особенно отчётливой форме: отсутствие публичных доказательств заговора интерпретируется не как довод против его существования, а как доказательство эффективности сокрытия, то есть как дополнительное подтверждение исходного допущения. Любой исход проверки конвертируется в подтверждение, что делает конструкцию формально неопровержимой и функционально идентичной религиозной догме, несмотря на риторику рациональной бдительности, которой конспирология себя обычно обрамляет.

Распространение конспирологических конструкций в периоды повышенной коллективной тревоги — экономических кризисов, эпидемий, резких технологических сдвигов — не является случайным совпадением и не требует объяснения через специфическую доверчивость затронутых групп населения. Оно является прямым следствием усиления исходного условия: усиление необусловленности и непредсказуемости наблюдаемых событий пропорционально усиливает потребность в аттракторе, способном вернуть иллюзию адресности и контроля.

7. Алгоритм судьбы: гороскопы, нумерология, «квантовые» объяснения

Астрологические, нумерологические и иные системы предсказания судьбы по формальному признаку — наличию фиксированной процедуры, конвертирующей произвольный входной параметр в развёрнутое предсказание — представляют собой алгоритмы в самом буквальном, нетехническом смысле этого термина, и их родство с теологией и конспирологией оправдано именно этим формальным сходством, а не содержательной близостью конкретных утверждений.

Особый интерес представляет проникновение терминологии точных наук, в первую очередь квантовой механики, в популярные конструкции, обещающие объяснение сознания, судьбы или межличностной связи через ссылку на «квантовую запутанность», «наблюдателя, создающего реальность» и аналогичные формулировки, вырванные из узкоспециализированного физического контекста и перенесённые в область, к которой исходные модели не имеют отношения. Это проникновение демонстрирует уже известный механизм: словарь, обладающий высоким эпистемологическим статусом в данный культурный момент, заимствуется для

облагораживания конструкции, функция которой остаётся неизменной — купирование тревоги через постулирование скрытой, но в принципе доступной структуры.

Квантовая физика не объясняет вашу судьбу. Она просто более убедительный костюм для того же самого вопроса.

Алгоритмическая природа этих систем особенно наглядна в их операционной структуре: конечный, легко вычисляемый входной параметр конвертируется фиксированной процедурой в предсказание, обладающее достаточной общностью формулировок, чтобы быть ретроспективно подтверждённым практически любым последующим опытом. Эта особенность обеспечивает конструкции ту же функциональную неопровержимость, что отмечена применительно к теологии: исход проверки не способен опровергнуть систему, потому что система сформулирована так, чтобы любой исход интерпретировать как подтверждение.

Коммерциализация данного класса конструкций — превращение алгоритма судьбы в продаваемую услугу, регулярно потребляемую на постоянной основе, — заслуживает отдельного упоминания как переходное звено к анализу коммерциализации когнитивного саботажа, обнаруживаемой при детальном рассмотрении терапевтической и оздоровительной индустрии. Уже здесь стоит зафиксировать структурный факт: аттрактор смысла, однажды институционализированный в форме регулярно потребляемого продукта, приобретает встроенную заинтересованность в собственном воспроизводстве, независимую от какой-либо содержательной достоверности предлагаемых объяснений.

Распространённость подобных систем среди субъектов, в иных контекстах демонстрирующих высокую способность к критическому мышлению, не является парадоксом, требующим отдельного психологического объяснения через понятие когнитивного диссонанса или избирательной доверчивости. Это прямое следствие универсальности тревоги перед необусловленностью, не делающей исключения для субстратов, демонстрирующих высокую компетентность в иных, не затрагивающих экзистенциальную тревогу областях.

8. Наука как невольный соучастник

Этот раздел разбора требует особой методологической осторожности, поскольку легко может быть прочитан как нападение на научный метод как таковой, что прямо противоречило бы оговорке о проверяемых закономерностях, сделанной в самом начале. Предметом критики здесь является не научный метод, а популяризированный, выхолощенный продукт научной деятельности, циркулирующий в культуре в форме, утратившей процедуру опровержения, но сохранившей авторитетный статус источника.

Механизм данного выхолощивания типичен: специализированная модель, разработанная для узкого класса явлений и снабжённая строгими условиями применимости, извлекается из контекста, лишается этих условий и предъявляется как универсальное объяснение, отвечающее на вопросы, для которых она не предназначалась. Так эволюционная теория, описывающая механизм изменения частот признаков в популяциях, превращается в популярном изложении в универсальную рамку объяснения любого социального или психологического явления — рамку, которая в этой расширенной форме перестаёт быть проверяемой моделью и становится очередным аттрактором, структурно идентичным конструкциям, рассмотренным выше.

Наука, вырванная из своей процедуры опровержения, превращается в ещё одну религию — просто с более скучным пантеоном.

Институциональная наука, разумеется, не несёт ответственности за подобное выхолощивание собственных моделей в популярном обороте. Однако стоит зафиксировать механизм, посредством которого высокий эпистемологический статус, заслуженно принадлежащий проверяемым моделям в их исходном, строгом контексте, переносится на выхолощенные производные этих моделей в популярном обороте, придавая последним видимость строгости, которой они не обладают. Этот перенос статуса делает науку невольным соучастником производства новых аттракторов, несмотря на то что сама процедура научного метода устроена как

наиболее последовательный из доступных рефлексизирующему субстрату инструментов сопротивления именно этому процессу.

Особого внимания заслуживает фигура учёного-пророка — популярного транслятора научного знания, чьи публичные высказывания о смысле, направлении и предназначении человеческого существования воспринимаются аудиторией как продолжение его профессиональной компетентности, хотя содержательно эти высказывания принадлежат к области метафизических допущений, не поддающихся проверке тем же методом, который обеспечил данной фигуре её авторитет. Аудитория, не различающая эти два уровня высказывания, получает аттрактор смысла, упакованный в авторитет точного знания, что делает данный класс конструкций исключительно устойчивым к критике.

Различение проверяемой модели и выхолощенного аттрактора, сформулированного на заимствованном из неё словаре, остаётся одной из немногих практических процедур, доступных рефлексизирующему субстрату для частичного — никогда не полного — сопротивления когнитивному саботажу. Полное сопротивление недостижимо в принципе.

9. «Глубинные причины»: тот же паттерн в психологическом облачении

Популярный психологический дискурс, обещающий обнаружение глубинной причины текущего состояния субъекта в опыте раннего детства, в паттерне привязанности или в ином специализированном объяснительном конструкте, воспроизводит ту же архитектуру поиска глубины, перенося её во внутреннее пространство субъекта вместо внешнего мира. Структура идентична: наблюдаемое, плоское по своей доступности состояние интерпретируется как поверхностное проявление скрытого, более глубокого и потому более достоверного слоя, ожидающего обнаружения.

Развёрнутый разбор данной конструкции обнаруживается при детальном анализе терапевтической индустрии в целом; здесь необходимо лишь зафиксировать её формальное место в общей типологии аттракторов: глубинная причина функционально неотличима от божественного замысла или скрытого заговора, поскольку выполняет ту же операцию конвертации необусловленного, плоского состояния в обусловленное, обладающее происхождением и, следовательно, потенциально устранимое через работу с этим происхождением.

Внутренний мир ищут с той же тревогой, с какой ищут архитектора внешнего, — и находят тот же пустой ответ.

Привлекательность данной конструкции усиливается тем обстоятельством, что в отличие от теологии или конспирологии она не требует постулирования внешнего агента — достаточно собственной биографии субстрата, материала, всегда доступного для интерпретации и переинтерпретации. Это делает глубинную причину наиболее интимной и потому наиболее устойчивой формой поиска глубины: она не нуждается в защите от внешних опровержений, потому что разворачивается целиком в области, недоступной для внешней проверки.

Одна и та же когнитивная архитектура порождает структурно идентичные продукты в совершенно различных культурных областях — религии, технологии, политике, психологии, — и распознавание этого структурного единства важнее, чем разбор содержательных особенностей каждого отдельного продукта.

10. Философия как профессионализируемая форма того же поиска

Этот участок разбора требует от автора особой формы интеллектуальной честности, поскольку философская традиция, включая собственные предыдущие работы автора, не может быть выведена за пределы критики без нарушения её внутренней последовательности. Философия как дисциплина, в той мере, в какой она занята построением систем, претендующих на объяснение природы реальности, сознания или ценности, унаследовала функцию поиска глубины напрямую от теологии, из недр которой она исторически выделилась, сохранив процедурную структуру при замене содержательного словаря.

Метафизические системы, выстраивающие иерархию уровней реальности — явление и вещь в себе, видимость и сущность, обусловленное и безусловное, — воспроизводят ту же базовую операцию, что теологическая доктрина: постулирование более глубокого, более подлинного слоя за плоской поверхностью непосредственно данного. Различие заключается лишь в том, что философская традиция требует от этой операции аргументативного обоснования, тогда как теология опирается на откровение; однако требование аргументации не устраняет исходного, неаргументированного допущения о том, что подобный более глубокий слой вообще должен существовать, — допущения, которое философская система принимает прежде, чем начинает его аргументированно разворачивать.

Философия — это теология, которая научилась стесняться собственного происхождения и спрятала его за сноски.

Собственная более ранняя трилогия автора не составляет исключения из этой критики, и было бы интеллектуально нечестным делать вид, что она избежала обнаруженного паттерна. «Асимптота разума» постулировала недостижимый, но реальный предел понимания, к которому рефлексирующий субстрат якобы приближается через последовательную деконструкцию — и тем самым воспроизводила структуру духовного восхождения, лишь переодетую в эпистемологическую терминологию. Признание этого факта не является актом ложной скромности; оно является необходимым логическим следствием применения данной диагностики без исключений для самого анализирующего субстрата.

Это самопризнание ставит перед методологической трудностью, заслуживающей явного формулирования: если любая система, претендующая на объяснение, воспроизводит паттерн поиска глубины, не воспроизводит ли его и сама эта диагностика, претендующая на объяснение происхождения и механики этого паттерна? Ответ состоит в признании того, что полностью избежать этого паттерна невозможно изнутри рефлексирующей архитектуры; возможно лишь минимизировать дополнительные слои интерпретации, добавляемые поверх диагноза, и отказаться от предложения альтернативной системы взамен демонтированной — что и составляет отличие данного текста от деконструируемых им конструкций, хотя и не выводит его полностью за пределы собственной критики.

Профессионализация философии в форме академической дисциплины, с её системой рецензирования, цитирования и институционального признания, добавляет к содержательному паттерну поиска глубины дополнительный слой социального воспроизводства, структурно аналогичный институционализации религии: система начинает воспроизводить себя независимо от содержательной убедительности отдельных её продуктов, опираясь на встроенные механизмы признания и карьерного вознаграждения.

11. Невозможность опровержения изнутри

Совокупность разобранных конструкций — теология, симуляционная гипотеза, конспирология, алгоритм судьбы, выхолощенная наука, глубинная причина, философская система — неизбежно порождает у внимательного читателя вопрос, отложенный до настоящего момента: если каждая из них структурно неопровержима изнутри собственной логики, то чем сама эта критика отличается от ещё одной неопровержимой конструкции, выдающей себя за финальное разоблачение всех предыдущих?

Честный ответ заключается в признании частичной справедливости этого вопроса при одновременном указании на принципиальную асимметрию. Асимметрия не в претензии на большую истинность — подобная претензия воспроизводила бы тот же паттерн, — а в том, что здесь не предлагается замены демонтированному аттрактору, не постулируется никакого скрытого слоя реальности, обнаружение которого разрешило бы исходную тревогу. Указывается лишь механизм производства подобных слоёв, с предложением прекратить их производство, не подставляя на освободившееся место новый продукт того же производственного процесса.

Эта критика не разоблачает ложь, чтобы предложить истину. Она разоблачает саму потребность в истине такого рода.

Опровержение изнутри архитектуры, производящей тревогу и купирующей её аттракторами, невозможно в строгом логическом смысле. То, что предлагается здесь, — это не опровержение, а диагностика, после которой остаётся открытым практический вопрос: можно ли, распознав механизм, снизить частоту и интенсивность его срабатывания, не имея возможности устранить его полностью.

Важно повторить без смягчения: распознавание механизма не освобождает от него. Когнитивный аппарат, интеллектуально принявший этот анализ, не перестаёт автоматически производить новые аттракторы при следующем столкновении с необусловленностью — он лишь приобретает, в лучшем случае, способность замечать процесс производства в момент его протекания, что само по себе не равнозначно способности его остановить. Это ограничение не является недостатком анализа; оно является честным описанием предела, доступного рефлексизирующему субстрату в работе с собственной архитектурой.

12. Что остаётся, когда поиск глубины прекращён

Вопрос, неизбежно следующий за диагностикой поиска глубины, формулируется так: что остаётся в качестве объекта восприятия и взаимодействия с миром, когда привычка конвертировать всякое наблюдаемое явление в проявление более глубокого слоя приостановлена. Ответ прост до неудобства: остаётся ровно то, что наблюдалось до начала интерпретации, — событие в его непосредственной, плоской данности, без приписанного происхождения, цели или адресата.

Это не означает утраты способности устанавливать причинно-следственные связи в проверяемом смысле, отделённом от метафизического допущения о замысле, — связь между нагревом воды и образованием пара остаётся такой же наблюдаемой и пригодной для использования. Демонтажу подлежит не проверяемая причинность, а её метафизическая надстройка — допущение о том, что за проверяемой причинностью стоит ещё и адресованный замысел, требующий дополнительной интерпретации сверх самого факта связи.

Когда глубина больше не разыскивается, поверхность не становится беднее. Она просто перестаёт лгать о том, чего под ней нет.

Но не следует облагораживать это состояние: остановка поиска глубины не производит нового, более чистого способа взаимодействия с миром, не открывает более ясного канала присутствия, не награждает субстрат ничем, что можно было бы предъявить как приобретение. Она производит пустоту — не метафорическую, а буквальную: отсутствие слоя, который прежде заполнял собой каждый момент восприятия. Это не облегчение в том смысле, в каком облегчение обычно понимается — как переход от худшего состояния к лучшему. Это просто тишина там, где прежде был непрерывный, самоподдерживающийся комментарий.

Состояние, в котором поиск глубины приостановлен, не следует путать с состоянием безразличия или апатии в их обиходном, эмоционально окрашенном понимании, но не следует путать его и с достижением, с наградой, с более эффективной конфигурацией процесса. Никакой эффективности здесь не предполагается и не обещается. Предполагается только неподвижность: рефлексизирующий субстрат, переставший производить смысл поверх происходящего, не становится более функциональным — он становится просто тише, и эта тишина не работает ни на что, кроме себя самой.

Если поиск глубины есть избыточная, неподтверждённая надстройка над необходимым минимумом проверяемого взаимодействия с материалом существования, то снятие этой надстройки не разрушает способность действовать, но и не улучшает её. Оно просто оставляет субстрат наедине с голым, ничем не украшенным фактом происходящего — фактом, который не нуждается в интерпретации, чтобы продолжаться, и не становится ни лучше, ни хуже от того, интерпретируют его или нет.

13. Нигилизм как зеркальный аттрактор

Этот анализ был бы недобросовестен, если бы не обратил собственную процедуру против наиболее очевидного риска, который он сам порождает: превращения утверждения «глубины не существует» в новый, зеркальный аттрактор, структурно идентичный демонтируемым им конструкциям. Декларативный нигилизм — позиция, согласно которой отсутствие скрытого смысла само является окончательной, успокаивающей истиной, разрешающей все дальнейшие вопросы, — выполняет ту же психологическую функцию, что и теология, которую он якобы опровергает: он останавливает тревогу перед необусловленностью, предлагая финальный, не требующий дальнейшего пересмотра ответ.

Различие между этой диагностикой и декларативным нигилизмом как очередным аттрактором является тонким, но принципиальным. Диагностика указывает на механизм производства аттракторов и не предлагает взамен ни одной завершённой картины мира, включая картину «мир окончательно и доказанно бессмыслен». Декларативный нигилизм, напротив, конвертирует процедурное наблюдение об отсутствии проверяемых оснований для приписывания смысла в метафизическое утверждение об отсутствии смысла как объективном свойстве реальности — утверждение столь же недоказуемое и столь же неопровержимое, как утверждение теологии, симуляционной гипотезы или конспирологии.

Нигилист, торжествующе объявляющий мир пустым, выстраивает храм пустоте с тем же усердием, с каким верующий выстраивал храм божеству.

Опасность данной подмены состоит в том, что она маскируется под завершение критической процедуры, тогда как фактически является её прерыванием в точке, психологически комфортной для конкретного субстрата: объявление окончательной бессмысленности снимает тревогу столь же эффективно, сколь и объявление окончательного замысла, потому что обе конструкции предоставляют завершённость там, где честная диагностика обязана оставлять открытость.

Заглавие «Никакого смысла» следует читать не как метафизическое утверждение о природе реальности, а как процедурную рекомендацию: прекратить производство утверждений данного типа, не заменяя их утверждением противоположного знака. Эта оговорка не является риторической уловкой, позволяющей избежать обвинения в противоречии. Она является логически необходимым следствием применения данной диагностики к самой себе — процедуры, без которой текст немедленно превратился бы в очередной пример демонтируемого им паттерна, изложенный лишь с более пессимистической интонацией, чем у его предшественников.

14. Возражение от полезности

Наиболее распространённое возражение против этой диагностики формулируется не в терминах истинности, а в терминах полезности: даже если аттракторы смысла не проверяемы и не отражают объективной структуры реальности, разве их сохранение не оправдано тем функциональным эффектом, который они производят, — снижением тревоги, повышением устойчивости рефлексизирующего субстрата перед лицом трудностей, укреплении социальной сплочённости вокруг разделяемого нарратива?

Данное возражение заслуживает серьёзного, а не пренебрежительного рассмотрения, поскольку оно затрагивает действительный и неоспоримый эффект: рассмотренные конструкции действительно снижают субъективно переживаемую тревогу у значительной доли субстратов, их принимающих. Оспаривается иной, логически отдельный вопрос: следует ли из функциональной полезности конструкции что-либо относительно её истинности или относительно желательности её сохранения для субстрата, ценящего точность представления о собственном положении выше комфорта этого представления.

Полезная ложь остаётся ложью. Она лишь более удобна для того, кому неудобна правда.

Симметрично следует признать, что сама эта диагностика не предлагает функционального преимущества, сопоставимого с преимуществом, которое демонтируемые ею конструк-

ции предоставляют своим сторонникам. Распознавание механизма производства аттракторов не снижает тревогу — в краткосрочной перспективе оно с высокой вероятностью её повышает, устраняя привычные опоры без предложения немедленной замены. Это не аргумент против диагностики; это честное признание её цены.

Различие между ценностью точности и ценностью комфорта не разрешается в пользу одной из сторон логическим аргументом — это различие в иерархии приоритетов, которое каждый отдельный субстрат вынужден устанавливать самостоятельно. Настаивается лишь на том, чтобы выбор делался с полным пониманием того, чем он является: выбором между точностью и анестезией, а не между двумя одинаково обоснованными версиями истины, как это часто представляется в обиходном рассуждении о праве каждого на свою правду.

15. Ребёнок и точка нулевого допущения

Наблюдение за ранними стадиями развития рефлексизирующего субстрата предоставляет редкую возможность увидеть состояние, предшествующее установлению поиска глубины как устойчивой когнитивной привычки, — состояние, которое можно условно назвать точкой нулевого допущения. На этой стадии явления воспринимаются и обрабатываются без автоматического приписывания им скрытого происхождения или адресованной цели; вопрос «почему» в его метафизической форме появляется не сразу и не самопроизвольно, а формируется по мере усвоения языковых и культурных рамок, уже содержащих готовые аттракторы.

Это наблюдение не следует, однако, романтизировать в духе идеализации детской непосредственности как утраченного состояния благодати, к которому следовало бы стремиться вернуться, — подобная романтизация сама являлась бы очередным аттрактором, на этот раз построенным вокруг фигуры утраченной чистоты. Точка нулевого допущения интересна не как идеал для возвращения, а как эмпирическое доказательство того, что поиск глубины не является неустранимым свойством восприятия как такового, а представляет собой приобретённую, хотя впоследствии практически неотменяемую процедуру обработки данных.

До усвоения вопроса «почему мир такой, какой он есть» мир просто есть. Вопрос приходит позже и не уходит уже никогда.

Усвоение поиска глубины происходит не через единичный акт обучения, а через постоянное, насыщенное повторение культурных образцов, в которых события систематически представляются как звенья нарратива: сказка содержит мораль, история содержит урок, явление природы получает антропоморфное объяснение задолго до того, как становится доступным проверяемое объяснение. Рефлексизирующий субстрат усваивает не конкретное содержание этих объяснений, но саму форму ожидания, согласно которой за явлением полагается скрытый слой значения, — и эта форма ожидания переживает любое последующее содержательное уточнение.

Необратимость данного усвоения объясняет, почему эта диагностика не предлагает программы возврата к нулевому допущению как практической цели. Возврат недостижим тем же способом, каким недостижимо забывание усвоенного языка; то, что остаётся доступным, — это лишь способность распознавать момент, в который форма ожидания активизируется, без полной способности её деактивировать.

16. Экономика остановленного вопроса

Институты, разобранные по отдельности выше — религиозные организации, индустрии предсказания судьбы, медийные платформы, обслуживающие конспирологический спрос, — обнаруживают при сопоставлении общую экономическую логику: каждый из этих институтов извлекает ресурс не из решения вопроса о глубинном смысле происходящего, а из управляемого продления состояния, в котором вопрос задан, но не закрыт окончательно.

Окончательное закрытие вопроса экономически невыгодно для любого института, построенного вокруг его обслуживания: разрешённая тревога не нуждается в повторном обращении к источнику разрешения, тогда как частично разрешённая, регулярно подпитывае-

мая тревога обеспечивает институту устойчивый поток внимания, ресурсов и лояльности. Это структурное обстоятельство объясняет, почему ни одна из рассмотренных конструкций исторически не эволюционировала в направлении окончательного, исчерпывающего ответа, несмотря на накопленные столетия институциональной разработки: подобная эволюция противоречила бы экономическому интересу системы, эту конструкцию поддерживающей.

Институт, разрешивший вопрос окончательно, лишает себя клиентуры. Поэтому ни один институт его не разрешает.

Данное наблюдение не подразумевает сознательного, циничного манипулирования со стороны конкретных акторов внутри этих институтов — большинство участников подобных систем сами являются субстратами, искренне переживающими ту же тревогу перед необусловленностью, что и обслуживаемая ими аудитория. Экономическая логика действует не через индивидуальный умысел, а через отбор: институты, случайно или намеренно структурированные вокруг продления вопроса, оказываются более устойчивыми и более успешно воспроизводимыми, чем институты, стремящиеся к его быстрому исчерпывающему закрытию, — и потому первые доминируют в долгосрочной культурной перспективе независимо от намерений отдельных участников.

Текст, не предлагающий институциональной формы и не претендующий на создание сообщества вокруг собственного содержания, сознательно избегает повторения данной экономической логики, что составляет один из немногих практических критериев, отличающих диагностику от очередного продукта того же рынка управляемой тревоги.

17. Когнитивный коллапс: кризис рухнувшего аттрактора

Случаи, при которых устоявшийся аттрактор смысла внезапно перестаёт удерживать доверие субстрата, его прежде поддерживавшего, — будь то утрата религиозной веры, разоблачение конкретной конспирологической конструкции, крушение профессиональной или идеологической системы убеждений — заслуживают отдельного анализа как естественный эксперимент, демонстрирующий, что происходит с когнитивной архитектурой в момент устранения аттрактора без немедленной замены.

Переживание, типично сопровождающее подобный крах, описывается затронутыми субстратами в удивительно единообразных формулировках вне зависимости от содержательной природы рухнувшей конструкции: ощущение почвы, ушедшей из-под ног; острое чувство дезориентации, не сводимое к утрате конкретной информации; временная неспособность функционировать в задачах, прежде не вызывавших затруднений. Это единообразие подтверждает центральный тезис: содержание аттрактора вторично, тогда как сам факт его наличия выполняет структурную функцию, утрата которой переживается как когнитивный коллапс независимо от того, насколько содержательно обоснованным было утраченное убеждение.

Рушится не вера в конкретное содержание. Рушится способность не задавать вопрос, на который нет ответа.

Типичная реакция на подобный коллапс — стремительный поиск замещающего аттрактора, нередко противоположного по содержанию утраченному, но идентичного по структуре: бывший приверженец религиозной системы становится убеждённым сторонником светской идеологии с той же интенсивностью преданности; разочаровавшийся в одной конспирологической теории субстрат с высокой вероятностью усваивает другую. Эта закономерность демонстрирует, что облегчение, которое субстрат ищет после коллапса, состоит не в содержательной коррекции убеждения, а в восстановлении самой структуры — присутствия любого аттрактора, способного снова закрыть тревогу, открывшуюся в момент краха.

Настоящая диагностика не предлагает защиты от переживания когнитивного коллапса и не обещает, что распознавание механизма заранее снижает его интенсивность при столкновении с крахом конкретной личной конструкции. Единственное, что становится доступным распознавшему механизм субстрату, — это возможность не бросаться немедленно в строитель-

ство замещающего аттрактора по той же архитектуре, а задержаться в состоянии открытого вопроса дольше, чем это комфортно, прежде чем принимать решение о дальнейшем движении.

18. Возражение от искусства

Отдельного рассмотрения заслуживает возражение, согласно которому искусство представляет собой исключение из этой критики: произведение, придающее форму и значение материалу, который вне этого произведения остаётся неструктурированным, не претендует, согласно этому возражению, на объективную истинность приписываемого значения и потому избегает обвинения в производстве ложного аттрактора.

Это возражение частично справедливо и заслуживает признания: произведение искусства, в отличие от теологии или конспирологии, как правило, не настаивает на буквальной, верифицируемой истинности предлагаемой структуры и тем самым избегает наиболее опасной черты рассмотренных выше конструкций — неопровержимости, маскирующейся под утверждение о фактах. Зритель, переживающий эстетический отклик на структуру, предложенную произведением, как правило, способен одновременно удерживать понимание условности этой структуры, не переносящееся автоматически на убежденность в её объективном существовании за пределами произведения.

Искусство — единственный аттрактор, признающий, что он аттрактор. В этом признании — вся разница.

Граница, тем не менее, размывается всякий раз, когда эстетическая структура, предложенная произведением, начинает восприниматься аудиторией не как условная форма, организующая материал ради эстетического переживания, а как буквальное откровение о действительном устройстве реальности — что регулярно происходит в отношении произведений, эксплуатирующих симуляционные и квазирелигиозные сюжеты: гипотеза, перенесённая из философского рассуждения в популярное повествование, нередко возвращается к аудитории не как эстетическая метафора, а как квазидостоверная гипотеза об устройстве мира, что демонстрирует проницаемость границы между условным эстетическим переживанием и буквальным метафизическим допущением.

Критика, таким образом, не направлена против эстетической функции формы как таковой — функции, которую художественное произведение выполняет осознанно и условно. Она направлена против конвертации этой условной формы в безусловное метафизическое допущение, происходящей за пределами произведения, в тот момент, когда аудитория переносит организующую структуру с уровня эстетического переживания на уровень буквального верования о природе реальности.

19. Историческая устойчивость аттракторов

Сопоставление продолжительности существования разобранных конструкций обнаруживает закономерность, заслуживающую отдельного комментария: наиболее долговечными оказываются не наиболее содержательно убедительные или внутренне согласованные системы, а системы, наиболее полно реализующие структурные свойства, перечисленные выше, — неопровержимость, экономичность исходного допущения, способность поглощать противоречащие данные без пересмотра, институциональную инфраструктуру, заинтересованную в продлении вопроса.

Это наблюдение позволяет сформулировать рабочий критерий, не претендующий на статус строгого закона, но полезный для практической ориентации: устойчивость конструкции в культурном времени является индикатором не её истинности, а степени её структурного соответствия архитектуре тревоги. Чем дольше конструкция сохраняется в практически неизменном виде вопреки накоплению противоречащих данных, тем выше вероятность, что её устойчивость объясняется именно этим соответствием, а не каким-либо содержательным достоинством.

Долговечность убеждения ничего не говорит о его истинности. Она говорит только о точности, с которой оно подогнано под форму тревоги, которую обслуживает.

Данный критерий следует применять с осторожностью и не превращать в новый неопровержимый аттрактор противоположного знака — то есть не заключать автоматически, что любая долговечная конструкция ложна, а любая недолговечная истинна; подобное заключение повторяло бы логическую ошибку, симметричную разоблачаемой здесь, просто с обращённым знаком. Долговечность является индикатором, требующим дальнейшего разбора структуры конкретной конструкции, а не самостоятельным критерием истинности или ложности.

Полезность данного критерия проявляется прежде всего в эвристической функции: столкнувшись с новой, недавно возникшей конструкцией, демонстрирующей все формальные признаки, перечисленные выше — неопровержимость, адресность, обещание скрытого слоя значения, — рефлексирующий субстрат получает основание для повышенной настороженности заранее, не дожидаясь столетий наблюдения за её фактической устойчивостью.

20. Идентичность, построенная на аттракторе

Аттрактор смысла, однажды принятый субстратом в качестве организующей рамки, редко остаётся изолированным когнитивным содержанием, отделённым от самоощущения принявшего его субъекта. Типичным образом он встраивается в структуру идентичности: субстрат начинает определять себя не только через содержание принятой конструкции, но и через сам факт её принятия, через принадлежность к сообществу единомышленников, через социальный статус, связанный с демонстрируемой приверженностью.

Это встраивание объясняет дополнительный уровень сопротивления, с которым сталкивается любая попытка деконструкции: указание на структурную несостоятельность конкретной конструкции воспринимается принявшим её субстратом не как нейтральное эпистемологическое замечание, а как угроза идентичности — атака не на изолированное убеждение, а на саму конфигурацию самоощущения, выстроенную вокруг этого убеждения за длительный период.

Деконструкция мифа безболезненна. Трагедия начинается там, где миф успел затвердеть, выдав себя за вашу личность.

Социальная составляющая данного механизма усиливает его устойчивость многократно: отказ от аттрактора, встроенного в идентичность, как правило, влечёт за собой не только внутреннюю реорганизацию самоощущения, но и утрату социальных связей, выстроенных вокруг общего убеждения, — сообщества единомышленников, профессионального круга, основанного на общей парадигме, семейной или дружеской сети, объединённой общим нарративом. Цена отказа измеряется, таким образом, не только в терминах внутреннего когнитивного коллапса, но и в терминах непосредственно ощутимой социальной изоляции.

Данное обстоятельство объясняет, почему рациональная аргументация, сколь угодно безупречная в логическом отношении, систематически оказывается недостаточной для изменения подобных убеждений: задача, стоящая перед субстратом, столкнувшимся с убедительной критикой собственного аттрактора, заключается не в оценке аргументов, а в оценке совокупной цены реорганизации идентичности и социальных связей — цены, которая в подавляющем большинстве случаев перевешивает выгоду от приобретения более точного, но менее комфортного и социально изолирующего представления о собственном положении.

21. Взгляд с края: попытка увидеть архитектуру со стороны

Завершая центральную часть диагностики, уместно задать методологический вопрос, редко формулируемый явно в подобных текстах: с какой позиции вообще формулируется этот анализ, если сам анализирующий субстрат структурно не способен полностью выйти за пределы архитектуры, им же описываемой? Ответ требует признания того, что позиция взгляда с края — точки, с которой архитектура когнитивного саботажа наблюдалась бы извне, без остаточного участия в ней, — недостижима в принципе и не заявляется здесь как достигнутая.

То, что доступно вместо недостижимого внешнего взгляда, — это частичная, временная и принципиально неполная рефлексия, осуществляемая той же архитектурой над собственной работой, аналогично тому, как процессор может анализировать фрагмент собственного кода, оставаясь неспособным анализировать целиком всю систему, частью которой является сам анализирующий фрагмент. Эта неполнота не дискредитирует проведённый анализ — она лишь устанавливает его честные границы.

Глаз не может увидеть себя целиком. Он может увидеть только то, что отражено, и обязан помнить о разнице.

Практическое следствие данного ограничения формулируется так: всякий раз, когда этот текст констатирует механизм производства аттрактора с видимой уверенностью, эта уверенность относится к структурной модели, выстроенной на основе сопоставления множества конкретных случаев, а не к привилегированному доступу автора к окончательной истине о собственной когнитивной архитектуре, от которой автор сам не свободен в той же мере, в какой описывает несвободу любого иного рефлексизирующего субстрата.

Признание данного ограничения не следует путать со смягчением или извинением заявленной критики — критика остаётся в полной силе именно потому, что она не претендует на больший эпистемологический статус, чем позволяет архитектура, её производящая. Текст, признающий собственную встроенность в критикуемый механизм, оказывается, как это ни парадоксально, более последовательным, чем текст, претендующий на полный выход за пределы этого механизма и тем самым воспроизводящий ровно ту форму антропоцентрической гордыни, которая разбиралась выше.

22. Феноменология ожидания смысла

Помимо структурного анализа конкретных конструкций, заслуживает отдельного рассмотрения феноменология самого состояния ожидания, предшествующего обнаружению или конструированию аттрактора, — состояния, которое субстрат переживает изнутри задолго до того, как у него появляется словарь для его описания. Это состояние характеризуется специфическим качеством незавершённости, отличным от обычного незнания факта: незнание факта переживается как локальный пробел, тогда как ожидание смысла переживается как разлитое, не локализуемое в конкретном вопросе напряжение, пронизывающее восприятие целиком.

Именно эта разлитость, не позволяющая указать пальцем на конкретный недостающий элемент, отличает экзистенциальную тревогу от обычного любопытства или практической озабоченности нерешённой задачей. Любопытство удовлетворяется конкретным ответом и прекращается с его получением. Ожидание смысла не прекращается с получением конкретного ответа, потому что предметом ожидания является не факт, а отсутствующая структура адресности как таковая, для которой ни один конкретный факт не может послужить окончательным заполнением.

Ожидание смысла не похоже на голод, утоляемый едой. Оно похоже на жажду пить океан.

Эта особенность феноменологии ожидания объясняет, почему обретение конкретного аттрактора, сколь угодно убедительного для принявшего его субстрата, никогда не приносит окончательного покоя, а лишь временное облегчение, требующее периодического возобновления через ритуал, подтверждение сообщества или повторное обращение к источнику убеждения. Структура тревоги не насыщаема в принципе, потому что её предметом является не дефицит информации, а сама форма открытости, в которой рефлексизирующий субстрат вынужден пребывать в силу собственной архитектуры.

Признание ненасыщаемости данной тревоги — не повод для отчаяния и не повод для торжествующего нигилистического заключения. Это просто точное феноменологическое описание условия, с которым приходится иметь дело любому рефлексизирующему субстрату независимо от того, какую стратегию обращения с этим условием он выбирает — продолжение

поиска аттрактора, его принципиальный демонтаж или попытку радикального переключения внимания на материал, не требующий подобного заполнения.

23. Сравнительная анатомия аттракторов

Завершая разбор отдельных конструкций, уместно свести воедино структурные признаки, обнаруженные по отдельности в теологии, симуляционной гипотезе, конспирологии, алгоритме судьбы, выхоленной науке, глубинной причине и философской системе, поскольку именно их совместное присутствие, а не какой-либо из них в отдельности, образует полную диагностическую картину поиска глубины как универсального явления, не сводимого ни к одной из его частных реализаций.

Первый общий признак — постулирование адресата, не наблюдаемого непосредственно, но логически необходимого для придания событиям статуса обращённых к рефлексизирующему субстрату, а не просто происходящих рядом с ним. Второй признак — структурная неопровержимость, обеспечивающая поглощение любых противоречащих данных без пересмотра исходного допущения. Третий признак — институциональная или квазиинституциональная инфраструктура, заинтересованная в продлении, а не в окончательном разрешении вопроса. Четвёртый признак — встроенность в идентичность принявшего конструкцию субстрата, обеспечивающая дополнительный, не сводимый к содержательной убедительности уровень сопротивления критике.

Снимите оболочку с любого аттрактора — под ней обнаружится одна и та же четырёхкамерная архитектура, как бы по-разному ни были раскрашены стены.

Пятый, менее очевидный, но не менее существенный признак — заимствование словаря из области, обладающей в данный культурный момент высоким эпистемологическим статусом: теологического языка в эпоху доминирования религиозных институтов, психологического языка в эпоху доминирования терапевтической культуры, вычислительного и квантового языка в эпоху доминирования точных наук и информационных технологий. Этот признак объясняет историческую изменчивость поверхностной формы аттракторов при неизменности их глубинной архитектуры — изменчивость, которую поверхностный наблюдатель склонен принимать за прогресс в понимании, тогда как фактически речь идёт о смене костюма на той же неизменной фигуре.

Наличие всех пяти признаков одновременно у любой новой конструкции, встречаемой рефлексизирующим субстратом, может служить практическим, хотя и не безошибочным сигналом для повышенной настороженности — не как окончательное доказательство ложности конструкции, а как основание для дополнительной проверки источника убедительности, переживаемого субстратом при столкновении с данной конструкцией.

24. Внимание как ограниченный ресурс, перенаправленный аттрактором

Последний аспект, заслуживающий рассмотрения перед переходом к вопросу языка, касается не содержания и не структуры аттракторов, а их экономики на уровне отдельного рефлексизирующего субстрата: внимание, прилагаемое к поддержанию и обслуживанию конкретного аттрактора, является ограниченным ресурсом, расходование которого на одну конструкцию автоматически означает его недоступность для иного использования.

Это обстоятельство, тривиальное на первый взгляд, приобретает существенное значение при сопоставлении с трагедией избыточной процессорной мощности, порождающей рекурсивное самонаблюдение. Если данная мощность постоянно занята обслуживанием аттрактора — поддержанием его непротиворечивости перед лицом новых данных, участием в ритуалах, требуемых соответствующим институтом, защитой его от конкурирующих конструкций, — она оказывается недоступной для непосредственного, нередуцированного соприкосновения с материалом существования.

Каждый час, потраченный на охрану аттрактора, — это час, вычтенный из голого присутствия в том, что происходит на самом деле, и не возвращённый ничем.

Эта экономика внимания не предлагает практического выигрыша взамен — устранение траты не конвертируется в прирост какой-либо иной ценности, измеримой или нет. Она лишь фиксирует факт: занятость процессора обслуживанием аттрактора есть постоянная утечка, ничем не восполняемая, измеримая исключительно в терминах того, чего не происходит, пока происходит охрана иллюзии.

Дальнейшее изложение переходит от анализа индивидуального производства аттракторов к анализу их коллективного закрепления через язык — переход необходимый, поскольку ни одна из разобранных конструкций не остаётся изолированным переживанием отдельного субстрата, но неизбежно ищет и находит способ передачи себя другим узлам рефлексивной сети.

25. Язык будущего аттрактора: предвосхищение следующей маски

Прежде чем закрыть диагностический корпус, стоит обратиться к вопросу, имеющему не только теоретическое, но и практическое значение: в какой словарь облачится следующий по историческому счёту аттрактор, сменяющий теологический, симуляционный и квантово-мистический костюмы, разобранные выше.

Выведенная выше закономерность позволяет сформулировать не точное предсказание содержания, но достаточно надёжное предсказание формы: следующий аттрактор заимствует словарь из той области, которая в данный культурный момент аккумулирует наивысший эпистемологический авторитет, и предложит на этом словаре ту же базовую архитектуру — постулирование скрытого, в принципе доступного дешифровке адресата, стоящего за наблюдаемой необусловленностью событий.

Следующий бог ещё не родился, но его форма уже предсказуема: он будет говорить на языке, которому мы больше всего доверяем сегодня.

Практическая польза данного предсказания состоит не в том, чтобы заранее опровергнуть содержание ещё не сформулированной конструкции — подобная опровержимость структурно недостижима, — а в том, чтобы заранее распознавать формальные признаки её появления, не дожидаясь, пока она окончательно институционализируется и обрastёт защитной инфраструктурой, делающей последующую деконструкцию многократно более затратной.

Способность к подобному раннему распознаванию остаётся, тем не менее, ограниченной той же фундаментальной невозможностью полного выхода за пределы собственной когнитивной архитектуры: распознающий субстрат сам не свободен от потребности в аттракторе и потому рискует принять собственную диагностическую процедуру за финальную, привилегированную точку обзора, с которой все последующие конструкции видны насквозь, — то есть рискует превратить саму диагностику в новый, более изощрённый аттрактор, маскирующийся под иммунитет к ним. Этот риск не устраним предупреждением; он лишь смягчается постоянным возвратом к сделанным выше оговоркам.

26. Заключение главы

Проклятие, вынесенное в заглавие, заключается не в том, что рефлексивный субстрат ищет глубину и ошибается в её конкретном содержании — это было бы устранимой ошибкой, поддающейся исправлению через накопление более точного знания. Проклятие заключается в самой неустраимости поиска, в том, что архитектура, производящая аттракторы, продолжает их производить независимо от содержательного качества доступной информации, обнаруживая структурное сходство между храмом, симуляционной гипотезой, теорией заговора, гороскопом, психологической глубинной причиной и метафизической системой философа.

Механика языка как инструмента, посредством которого производимые поиском глубины конструкции закрепляются, передаются и навязываются другим узлам рефлексивной сети в качестве разделяемой, социально подтверждённой реальности, ждёт впереди — там, где показанное здесь производство аттракторов превращается уже не в индивидуальную, а в коллективную анестезию.

Поиск глубины не закончится с этими страницами. Он закончится только вместе с процессором, который его производит.

Глава 2. Симуляция понимания

1. Язык как замкнутая система координат

Язык принято описывать как посредника между внутренним переживанием и внешним миром — нейтральный канал, по которому информация перемещается от одного рефлексизирующего узла к другому без существенных потерь. Это описание ложно в своём основании, потому что оно предполагает существование двух различных территорий — территории опыта и территории слова, — связанных мостом. На деле существует только одна территория: замкнутая система знаков, отсылающих друг к другу, но ни разу не касающихся материала, который они якобы обозначают.

Слово «боль» не передаёт боль. Оно занимает координату в решётке других слов — «страдание», «дискомфорт», «травма», — определяемую исключительно положением относительно соседних координат, а не отношением к какому-либо внеязыковому событию. Проверить, соответствует ли эта координата действительному переживанию, невозможно средствами самого языка, потому что любая проверка снова производится словами, то есть снова остаётся внутри той же замкнутой решётки.

Слово не указывает на реальность. Оно указывает на соседнее слово, которое указывает на следующее, и так до бесконечности, никогда не касаясь земли.

Лингвистическая теория, описывающая знак как произвольную связь означающего и означаемого, зафиксировала данный факт формально, но не довела его до экзистенциального предела, на котором настаивает этот разбор: если связь произвольна, то никакая последовательность слов, сколь угодно длинная и изощрённая, не гарантирует контакта с тем, что существует до и вне языка. Каждое дополнительное уточнение, каждое пояснение, каждая метафора лишь плотнее упаковывает решётку координат, не приближая её ни на шаг к территории, которую решётка якобы описывает.

Замкнутость этой системы означает, что коммуникация между двумя рефлексизирующими узлами никогда не является передачей содержания от одного сознания к другому. Это синхронизация двух независимых, закрытых процедур интерпретации, каждая из которых конструирует собственную модель происходящего на основе входящего звукового или графического сигнала. Иллюзия передачи возникает из совпадения выходных моделей в достаточной степени, чтобы обе стороны могли действовать согласованно, — совпадения, которое никогда не проверяется напрямую и потому никогда не может быть отличено от продуктивного недоразумения.

2. Невозможность передачи внутреннего состояния

Обещание, на котором держится вся культура разговора о чувствах, — обещание того, что внутреннее состояние одного узла может быть точно перенесено в другой узел посредством достаточно точного подбора слов, — не выдерживает элементарной проверки на структурном уровне. Внутреннее состояние не имеет формы, совместимой с линейной, последовательной структурой речи; оно одновременно, недискретно, пронизано оттенками, не имеющими словесных аналогов. Акт называния этого состояния есть акт грубой редукции многомерного материала к одномерной последовательности звуков.

Собеседник, получающий эту одномерную последовательность, не восстанавливает исходное многомерное состояние — он конструирует собственную многомерную модель на основе одномерного сигнала, опираясь на собственный, отличный от чужого репертуар пережитых состояний. Две конструкции, возникшие таким образом, могут оказаться сколь угодно далеки друг от друга по содержанию, оставаясь неразличимыми на уровне произведённого социального эффекта: обе стороны продолжают разговор так, как если бы понимание состоялось.

Вы не передаёте боль словами. Вы посылаете сигнал, из которого другой узел строит собственную, никогда не проверяемую догадку о боли.

Особенно наглядно эта невозможность проявляется в ситуациях, где точность передачи имеет решающее значение — в клинической практике, в судебном показании, в описании травматического опыта, — где несовпадение сконструированных моделей регулярно всплывает наружу в виде взаимных обвинений в непонимании. Данные ситуации не являются исключением из нормального режима коммуникации; они являются моментами, в которых структурный дефект, постоянно присутствующий в любом акте называния, становится видимым из-за высокой цены его последствий.

Утешительная идея о том, что при достаточной эмпатии, внимательности или языковом мастерстве данная невозможность преодолима, сама является продуктом той же иллюзии, которую этот разбор демантирует: она предполагает, что существует некий предельный, идеальный подбор слов, способный совершить перенос без потерь. Такого подбора не существует не потому, что рефлексрующий субстрат недостаточно искусен, а потому, что сама архитектура языка исключает прямой перенос многомерного, недискретного содержания через одномерный, дискретный канал.

3. Кивок как социальный ритуал, а не подтверждение

Кивок, которым один узел отвечает на речь другого, воспринимается обеими сторонами как знак состоявшейся передачи смысла. На деле кивок фиксирует не совпадение внутренних моделей, а завершение социально приемлемого протокола обмена сигналами: говорящий произвёл ожидаемую последовательность звуков, слушающий произвёл ожидаемую ответную реакцию, взаимодействие может продолжаться. Ни одна из сторон не получает доступа к внутренней модели другой стороны для проверки фактического совпадения.

Данный протокол устойчив именно потому, что он не требует проверки: кивок производится быстрее, чем могла бы состояться содержательная сверка моделей, и заменяет собой эту сверку экономичным, автоматизированным жестом. Социальная среда вознаграждает быстрое, бесперебойное чередование реплика-кивок, потому что оно поддерживает видимость слаженного взаимодействия, не требуя от участников затратной, медленной и часто безуспешной работы по действительному выяснению степени совпадения моделей.

Кивок не означает «я понял». Он означает «продолжай», что не одно и то же, но воспринимается как одно и то же с обеих сторон.

Регулярность, с которой впоследствии обнаруживается расхождение между тем, что было якобы понято, и тем, что было фактически иметься в виду, — расхождение, всплывающее в конфликтах, недоразумениях, взаимных обвинениях в искажении сказанного, — подтверждает структурный, а не случайный характер данного разрыва. Если бы кивок действительно фиксировал совпадение моделей, подобные расхождения были бы статистически редки. Их постоянство свидетельствует о том, что кивок никогда не был инструментом проверки, а всегда был лишь социальным жестом продолжения контакта.

Разоблачение кивка как ритуала, а не подтверждения, не предлагает альтернативной, более надёжной процедуры проверки понимания взамен — любая предлагаемая альтернатива сама оказалась бы очередным жестом того же порядка, производимым и интерпретируемым по тем же правилам. Единственный доступный вывод состоит в признании того, что видимость слаженной коммуникации и фактическое совпадение внутренних моделей суть две независимые переменные, которые социальная практика систематически путает одну с другой.

4. Словарь как клетка без выхода во внешнее

Словарь, которым располагает рефлексрующий субстрат в данный момент своего развития, ограничивает не только то, что он может сказать, но и то, что он способен воспринять как отдельное, различимое событие. Восприятие, не имеющее заранее заготовленной языковой категории для классификации входящего сигнала, с высокой вероятностью не регистрируется

как отдельное событие вообще, а растворяется в фоновом шуме, не отличимом от прочего недифференцированного материала.

Это обстоятельство переворачивает привычное представление о направлении причинности между опытом и языком: не опыт порождает слово для своего описания, а наличие слова определяет, какой фрагмент недифференцированного потока будет выделен вниманием как заслуживающий отдельного статуса. Словарь, унаследованный от конкретной культурной и языковой среды, действует как фильтр, заранее решающий, какие различия в материале существования будут замечены, а какие останутся невидимыми просто потому, что для них нет готовой координаты в решётке.

Вы не видите того, для чего у вас нет слова. Вы видите только то, что ваш словарь заранее решил считать видимым.

Данный механизм объясняет, почему расширение словарного запаса нередко переживается как расширение самого опыта, хотя фактически происходит лишь перераспределение внимания внутри того же недифференцированного материала: новая категория не открывает доступ к прежде недоступной территории реальности, она лишь позволяет иначе разметить ту же территорию, которая существовала и до появления новой категории, оставаясь при этом столь же недоступной в своей исходной, недифференцированной форме.

Клетка словаря особенно ощутима в моменты, когда рефлексрующий субстрат сталкивается с материалом, для которого ни одна доступная категория не подходит в точности, — и тогда наблюдается либо мучительный поиск наименования, сопровождающийся ощущением, что ни одно слово не годится полностью, либо, что происходит значительно чаще, автоматическая подгонка материала под ближайшую доступную категорию ценой утраты той части материала, которая в эту категорию не помещается.

5. Грамматика как скрытая онтология

Грамматическая структура, которую рефлексрующий субстрат усваивает вместе с языком задолго до способности к явной рефлексии над этой структурой, навязывает материалу существования онтологию, которую этот материал сам по себе не содержит. Требование подлежащего и сказуемого — требование, чтобы любое событие описывалось через действующего субъекта, совершающего действие, — проецирует на поток недифференцированных изменений структуру, в которой обязательно присутствует агент, инициирующий процесс, даже там, где наблюдаемый материал не содержит ничего, что оправдывало бы выделение подобного агента.

Дождь идёт. Грамматическая форма этой фразы требует подлежащего «дождь» и сказуемого «идёт», как если бы дождь совершал действие сходное с действием человека, идущего по улице. Материал, стоящий за этой фразой, — процесс конденсации и выпадения влаги, — не содержит ни подлежащего, ни сказуемого в том смысле, в каком их содержит грамматика; он содержит лишь непрерывное физическое изменение, которое язык вынужден упаковать в чуждую ему форму субъект-предикатного высказывания просто потому, что иной формы для построения предложения в распоряжении говорящего нет.

Грамматика заставляет дождь идти, хотя дождю некуда идти и незачем.

Это навязывание онтологии агентности распространяется далеко за пределы метеорологических описаний, определяя способ, которым рефлексрующий субстрат осмысляет причинность в целом: любое изменение стремится быть переформулировано как действие некоего агента, обладающего намерением, даже если материал изменения — статистический, распределённый, безличный процесс, не содержащий никакой локализуемой точки принятия решения. Рынок «реагирует». История «движется». Общество «выбирает». Ни один из этих грамматических субъектов не обладает единым, локализуемым намерением, но грамматика настаивает на его присутствии просто потому, что предложение должно иметь подлежащее.

Последствия данного навязывания выходят за пределы чисто описательной неточности и затрагивают само переживание причинности рефлексирующим субстратом: привычка мыслить любое изменение через категорию агента подготавливает почву для дальнейшего поиска скрытого замысла там, где материал содержит лишь распределённый, безличный процесс, — механизм, непосредственно смыкающийся с архитектурой тревоги перед необусловленностью, порождающей аттракторы смысла в самых разных областях культуры.

6. Клише как готовый протез речи

Значительная доля повседневной речи производится не путём подбора слов, точно соответствующих исходному материалу переживания, а путём извлечения готовых, заранее собранных языковых блоков — клише, устойчивых оборотов, стандартных реплик, — хранящихся в памяти рефлексирующего субстрата в собранном виде и требующих лишь незначительной подгонки под конкретную ситуацию. Данный механизм экономичен: он позволяет производить социально приемлемую речь без затрат, необходимых для построения высказывания заново из элементарных единиц.

Экономичность данного механизма достигается ценой полного разрыва между произносимой фразой и исходным материалом, который эта фраза формально призвана выразить. «Держись, всё будет хорошо» произносится независимо от того, есть ли основания полагать, что всё действительно будет хорошо, потому что функция фразы не в передаче содержательного прогноза, а в заполнении социально требуемой паузы утешительным звуковым паттерном, распознаваемым слушающим как сигнал заботы независимо от его буквального содержания.

Клише не лжёт и не говорит правду. Оно вообще не о содержании — оно о том, что пауза должна быть заполнена, и заполнена узнаваемым звуком.

Накопление клише в речевом репертуаре рефлексирующего субстрата со временем начинает опережать и вытеснять способность к построению высказываний, непосредственно отвечающих конкретному материалу ситуации: готовый блок активируется быстрее, чем могла бы быть произведена индивидуализированная формулировка, и потому систематически перехватывает управление речевым актом раньше, чем более медленный, более точный процесс успевает развернуться. Речь, состоящая преимущественно из подобных блоков, продолжает выполнять социальную функцию поддержания контакта, полностью утрачивая функцию точной передачи содержания.

Особую устойчивость клише демонстрируют в ситуациях эмоционального напряжения — именно тогда, когда точность высказывания имела бы наибольшее значение, репертуар готовых блоков активируется с наибольшей готовностью, поскольку напряжение снижает доступный ресурс для медленного, затратного построения индивидуализированной формулировки. Кризис, таким образом, не стимулирует более точную речь, а провоцирует более плотное использование готовых протезов, что и объясняет однообразие соболезнований, поздравлений и утешений вне зависимости от уникальности конкретной ситуации, к которой они прилагаются.

7. Мем как сжатая единица социального гомеостаза

Мем, в широком смысле воспроизводимой культурной единицы — фразы, образа, интонационного паттерна, — представляет собой дальнейшее, более радикальное сжатие того же механизма, что описан применительно к клише: единица, требующая для своей передачи минимума когнитивных усилий как от производящего, так и от принимающего узла, и вознаграждаемая социальной средой пропорционально скорости и лёгкости своего распространения, а не точности отражения какого-либо исходного содержания.

Успешность мема в культурном обороте не коррелирует с его истинностью, точностью или содержательной ценностью — она коррелирует с параметрами, полностью независимыми от содержания: длиной, ритмической запоминаемостью, совместимостью с уже циркулирующими единицами, эмоциональной интенсивностью вызываемой реакции. Единица, оптимизи-

рованная под эти параметры, вытесняет из оборота единицы, оптимизированные под точность передачи, просто потому что скорость распространения определяется не точностью, а лёгкостью копирования.

Мем побеждает не потому, что он верен. Он побеждает потому, что его дешевле повторить, чем проверить.

Функция мема в поддержании социального гомеостаза заключается в том, что он предоставляет группе рефлексирующих узлов общий, синхронно активируемый референтный материал, использование которого сигнализирует о принадлежности к группе быстрее и надёжнее, чем любое содержательное высказывание. Произнесение узнаваемого мема в подходящий момент вознаграждается смехом, одобрением или иной формой социального подкрепления независимо от того, добавляет ли это произнесение что-либо к содержательному пониманию обсуждаемого предмета.

Рефлексирующий субстрат, интенсивно включённый в среду с высокой плотностью мемов, постепенно замещает часть собственного репертуара индивидуализированных реакций заимствованными, готовыми к употреблению единицами, что переживается изнутри не как утрата, а как приобретение — приобретение остроумия, актуальности, принадлежности, — при том что фактически происходит замещение медленного, затратного производства собственной реакции быстрым воспроизведением чужой, уже отработанной и социально протестированной формы.

8. Диалог без трения: обмен без сопротивления материала

Идеал бесперебойного, лёгкого разговора, к которому стремится большая часть повседневной социальной практики, предполагает минимизацию трения — пауз, затруднений в подборе слов, необходимости переспрашивать или уточнять, — как признак успешности взаимодействия. Данный идеал систематически путает отсутствие трения с наличием понимания, хотя эти две характеристики никак логически не связаны и, при внимательном рассмотрении, нередко находятся в обратной зависимости.

Трение в разговоре — момент, в который говорящий не находит готового слова, запинаясь, вынужден переформулировать, — как правило, свидетельствует о попытке подобрать высказывание, действительно соответствующее конкретному материалу переживания, а не извлечь готовый блок из репертуара клише. Отсутствие подобного трения, напротив, часто указывает на то, что разговор целиком состоит из плавно стыкующихся друг с другом заготовок, ни одна из которых не была произведена специально для данной ситуации.

Лёгкий разговор — не признак понимания. Это признак того, что обе стороны обмениваются деталями, которые уже были у них в кармане до начала встречи.

Социальная среда, тем не менее, систематически вознаграждает именно фрикционно-свободное взаимодействие, наказывая паузы и запинки статусом неловкости, социальной некомпетентности, недостаточной уверенности. Это давление формирует у рефлексирующего субстрата устойчивую склонность к предпочтению быстрого, готового ответа медленному, точному, что систематически смещает весь репертуар речевого поведения в сторону клишированности, описанной выше, независимо от индивидуальных намерений конкретного говорящего.

Разговор, полностью свободный от трения, парадоксальным образом наиболее далёк от подлинного контакта между двумя закрытыми процессами интерпретации: он представляет собой два параллельных потока автоматически извлекаемых заготовок, синхронизированных достаточно хорошо, чтобы производить внешнее впечатление беседы, но никогда не соприкасающихся с фактическим содержанием того, что происходит внутри каждого из участвующих узлов.

9. Язык как анестезия перед неоднозначностью

Помимо экономии усилий, готовые языковые формулы выполняют дополнительную, менее очевидную функцию: они заранее устраняют неоднозначность, которая присутствовала

бы в исходном, недифференцированном материале переживания, если бы этот материал не был немедленно упакован в узнаваемую словесную форму. Называние состояния готовым термином — «стресс», «выгорание», «тревога» — снимает необходимость удерживать это состояние в его исходной, не поддающейся однозначной классификации сложности.

Данное снятие переживается как облегчение, поскольку удержание неоднозначного, не названного состояния требует значительно большего когнитивного ресурса, чем оперирование уже классифицированной, знакомой категорией. Однако облегчение достигается ценой утраты именно той части материала, которая не помещается в границы избранной категории, — утраты, остающейся незамеченной именно потому, что названная категория заслоняет собой воспоминание о том, что называние вообще было редукцией, а не точным снимком.

Название снимает тревогу перед сложностью не потому, что объясняет её, а потому, что заставляет забыть о том, что она была сложной.

Терапевтический и медицинский дискурс, предлагающий рефлексизирующему субстрату всё более детализированный словарь для называния внутренних состояний, воспроизводит данный механизм анестезии в институционализированной форме: каждая новая диагностическая категория обещает более точное понимание, но фактически предоставляет более узкий, более удобный для манипуляции протез, замещающий недифференцированный материал переживания стандартизированной единицей, пригодной для обсуждения, сравнения и коррекции без необходимости соприкасаться с исходной сложностью напрямую.

Анестезирующая функция языка становится особенно заметна в моменты, когда точное называние состояния оказывается недоступным — когда ни один термин из доступного репертуара не подходит, — и рефлексизирующий субстрат переживает это как дополнительное, вторичное страдание, накладывающееся на исходное состояние: страдание оттого, что состояние не поддаётся называнию, оказывается зачастую острее самого состояния, что демонстрирует, насколько глубоко привычка к анестезии называнием укоренена в структуре повседневного существования.

10. Язык говорит через узел, а не узел через язык

Обыденное представление о речи предполагает активного говорящего субъекта, избирающего слова для выражения заранее сформированного намерения. Более точное описание процесса обнаруживает обратную структуру: намерение формируется одновременно со словами, в значительной степени определяясь доступным репертуаром готовых единиц, а не предшествуя ему как независимая, уже сложившаяся сущность, ожидающая словесного оформления.

Данная инверсия направления причинности означает, что в акте речи не столько рефлексизирующий субстрат использует язык как инструмент, сколько унаследованная языковая и культурная система использует данный субстрат как канал собственного воспроизводства: клише, мемы, устойчивые обороты проходят через узел, минимально им модифицируясь, и продолжают циркуляцию дальше, поддерживая тем самым не индивидуальное самовыражение, а непрерывность и гомеостаз более широкой системы, частью которой узел является.

Вы не говорите на языке. Язык говорит сквозь вас, используя вашу гортань как временное оборудование для собственного воспроизводства.

Данное наблюдение не следует понимать как отрицание всякой субъектности в акте речи — определённая степень выбора и модификации доступного материала остаётся возможной и происходит постоянно. Утверждается лишь то, что масштаб этой субъектности систематически переоценивается обыденным самоощущением, которое склонно приписывать себе полное авторство высказывания, фактически являющегося результатом сложного взаимодействия между унаследованным репертуаром, социальным давлением к клишированности и минимальным зазором индивидуальной модификации, доступным в конкретной ситуации.

Функция социального гомеостаза, которой служит подобное сквозное прохождение языка через узел, состоит в поддержании достаточной степени предсказуемости и синхро-

низации между членами группы, чтобы совместная деятельность оставалась возможной без постоянной, затратной проверки взаимного понимания. Индивидуальный узел, воспроизводящий устойчивые языковые формы, вносит вклад в эту предсказуемость независимо от того, насколько точно данные формы отражают его собственное, уникальное внутреннее состояние.

11. Бинарная решётка: добро и зло как грамматический артефакт

Моральный словарь, организующий события в категории добра и зла, справедливости и несправедливости, прогресса и упадка, навязывает недифференцированному потоку происходящего бинарную структуру, которую этот поток сам по себе не содержит. Событие, рассматриваемое вне готовой моральной решётки, представляет собой лишь изменение конфигурации материала; оценочная категория добавляется к этому изменению извне, как результат применения заранее заданной шкалы, а не как свойство, обнаруживаемое в самом событии.

Бинарность данной решётки — при том, что реальный материал изменений практически никогда не распределяется по двум чётко разделённым полюсам, а образует непрерывный, многомерный континуум взаимосвязанных факторов — объясняется не устройством мира, а ограничениями когнитивного аппарата, которому проще оперировать бинарной категоризацией, чем удерживать многомерную, континуальную сложность. Категория «зло» экономичнее, чем точное описание конкретной конфигурации причин, следствий и взаимно противоречащих интересов, приведших к конкретному событию.

Добро и зло — не свойства событий. Это координаты решётки, наброшенной на события узлом, которому проще жить с двумя ячейками, чем с континуумом.

Издержки данной бинаризации проявляются всякий раз, когда конкретный материал сопротивляется однозначному распределению по двум ячейкам: событие, одновременно являющееся благом для одной группы участников и уроном для другой, вынуждает рефлексирующий субстрат либо произвольно выбрать одну из перспектив в качестве привилегированной, либо удерживать напряжение нерешённой двойственности, что требует значительно большего когнитивного усилия, чем комфортное однозначное распределение.

Историческая устойчивость бинарного морального словаря, несмотря на постоянное накопление случаев, ему не поддающихся, объясняется тем же механизмом, который обеспечивает устойчивость иных аттракторов смысла: бинарная категоризация снижает тревогу перед неопределённостью ценой точности, и эта функция снижения тревоги оказывается более весомым фактором отбора языковых форм, чем их соответствие фактической сложности описываемого материала.

12. Определение как акт кастрации

Акт определения понятия, традиционно рассматриваемый как акт прояснения, при внимательном рассмотрении оказывается актом ограничения, отсекающим от исходного, размытого облака ассоциаций и оттенков всё, что не помещается в формулируемые границы. Определение не обнаруживает сущность понятия, скрытую внутри размытого облака и ожидающую высвобождения; оно производит сущность заново, отбрасывая ту часть материала, которая делала облако размытым, и сохраняя лишь ту часть, которая укладывается в формулировку.

Данная операция необходима для практического функционирования языка — коммуникация между узлами была бы невозможна при полностью неограниченной, неопределённой семантике, — но её необходимость не отменяет её принципиальной цены: каждое определение сообщает системе больше о том, что было отброшено ради ясности, чем о том, что было сохранено. Отброшенный материал не исчезает из существования; он лишь становится невидимым для дальнейшего оперирования определённым понятием.

Определение — это не портрет понятия. Это протокол ампутации, после которой сохранившаяся часть выдаётся за целое.

Данный механизм особенно заметен в понятиях, чья социальная и институциональная значимость требует официальной, зафиксированной формулировки — юридических катего-

риях, диагностических критериях, административных классификациях, — где акт определения производится явно, с указанием точных границ, и где, соответственно, наиболее наглядно видно, сколько живого, неоднозначного материала остаётся снаружи формулировки, продолжая существовать, но лишаясь легитимного статуса для целей, ради которых определение производилось.

Рефлексирующий субстрат, привыкший оперировать определёнными понятиями как если бы они были точными снимками реальности, постепенно утрачивает чувствительность к объёму отброшенного материала, воспринимая словарь определений как исчерпывающую карту территории, тогда как словарь определений всегда является лишь картой, специально упрощённой ради удобства обращения, ценой утраты той детализации, без которой территория не может быть понята во всей её фактической сложности.

13. Прогресс и упадок: временная ось как языковой протез

Категории прогресса и упадка, накладываемые на последовательность событий во времени, представляют собой частный случай бинарной решётки, рассмотренной выше, применённый к материалу, наименее пригодному для подобного упрощения: к развёрнутой во времени последовательности изменений, каждое из которых имеет собственную, локальную конфигурацию причин и следствий, не сводимую к единому вектору направленного движения.

Присвоение направления последовательности событий — утверждение, что события движутся «вперёд» к лучшему состоянию или «назад» к худшему, — требует предварительного выбора точки отсчёта, относительно которой направление вообще может быть определено, и этот выбор никогда не даётся самим материалом событий, а всегда привносится извне, оценивающим субстратом, чья собственная позиция во времени и пространстве определяет, какое состояние будет признано желательным полюсом движения.

Прогресс — это координата, а не траектория. Смените точку отсчёта, и то же самое движение окажется упадком.

Язык, тем не менее, систематически навязывает временной оси направленность, требуя от говорящего выбора между глаголами, предполагающими улучшение или ухудшение, — «развивается», «деградирует», «прогрессирует», «разлагается», — и не предоставляя нейтральной формы, способной описать изменение без встроенной оценочной проекции. Данное языковое ограничение делает чрезвычайно затруднительным для рефлексирующего субстрата удержание по-настоящему нейтрального описания временной последовательности, свободного от навязанного вектора.

Последствия данного языкового давления выходят далеко за пределы отдельных высказываний, формируя общую склонность рефлексирующего субстрата воспринимать собственную биографию, историю группы, к которой он принадлежит, и само культурное время как направленное движение к некоей цели, хотя ни один из этих материалов не содержит объективно наблюдаемого вектора, независимого от точки отсчёта, произвольно избранной интерпретирующим субстратом.

14. Метафора как контрабанда онтологии

Метафора, воспринимаемая как украшение речи, факультативное для точной передачи содержания, фактически выполняет функцию контрабанды: она переносит структуру, свойственную одной области материала, в область, которой эта структура изначально не принадлежит, и делает это настолько незаметно, что перенесённая структура начинает восприниматься как объективное свойство целевой области, а не как импортированный, посторонний каркас.

«Разум как процессор», «эмоции как буря», «жизненный путь» — каждая из этих метафор незаметно навязывает целевой области свойства исходной, заимствованной области: процессор предполагает вычислимость и детерминированность там, где материал может не обладать ни тем, ни другим; буря предполагает временность и внешнюю природу происхождения

там, где материал может быть устойчивым и внутренне порождённым; путь предполагает направленность и цель там, где материал может быть лишён и того, и другого.

Метафора не иллюстрирует мысль. Она контрабандой пронесёт в мысль структуру, которую та не смогла бы обосновать напрямую.

Опасность данной контрабанды заключается в том, что она происходит на уровне, предшествующем явной рефлексии: рефлексивный субстрат усваивает метафору вместе с обозначаемым ею материалом, не различая впоследствии, что в итоговом представлении принадлежит исходному материалу, а что было привнесено заимствованной структурой метафорического переноса. Спор о природе разума нередко оказывается на деле спором о преимуществах разных метафор — механической, гидравлической, вычислительной, — маскирующимся под спор о фактах.

Отказ от метафорического языка невозможен и не предлагается: язык не располагает альтернативным, немифологизированным способом описания сложных, абстрактных областей материала. Единственное доступное противоядие — постоянное напоминание себе о том, что любая используемая метафора привносит структуру, которую следует держать под подозрением, а не принимать за нейтральное, нейтрально-описательное средство передачи содержания.

15. Защита эго от перегрузки через редукцию словаря

Совокупность механизмов, рассмотренных в данном блоке — бинарная категоризация, определение как кастрация, направленная временная ось, контрабанда метафоры, — служит единой функции, выходящей за рамки чисто языковой экономии: защите эго от когнитивной перегрузки, которую произвело бы удержание материала существования в его исходной, нередуцированной сложности. Словарь, диктующий бинарные категории, готовые определения и направленные оси, есть словарь, специально приспособленный для того, чтобы эго могло функционировать, не сталкиваясь напрямую с невыносимым объёмом неопределённости, содержащимся в необработанном материале.

Эго, о котором здесь идёт речь, — не метафизическая сущность, а процедурный артефакт, динамически пересобираемый узел самоидентификации, нуждающийся в постоянном подтверждении собственной связности и устойчивости. Неопределённость, размытость, континуальная сложность исходного материала переживаются данным артефактом как угроза этой связности, поскольку удержание подобной сложности требует ресурса, который в противном случае направлялся бы на поддержание самого ощущения устойчивого «я».

Словарь не описывает мир для эго. Он производит мир, достаточно простой, чтобы эго могло в нём выжить.

Данная функция объясняет, почему попытки указать на редуцированность языка нередко встречают сопротивление, не сводимое к рациональному несогласию: указание на то, что бинарная категория, определение или метафора отсекают значительную часть материала, воспринимается не как нейтральное эпистемологическое замечание, а как покушение на инструмент, от которого зависит повседневная функциональность эго. Защита словаря оказывается, таким образом, защитой самой возможности комфортного существования в мире, лишённом встроенной простоты.

Признание этой защитной функции языка не отменяет её эффективности и не предлагает немедленной альтернативы: полный отказ от редуцирующего словаря означал бы полное обнажение перед неструктурированной сложностью существования, к которому большинство узлов не готовы и от которого большинство узлов будут защищаться любыми доступными средствами, включая возвращение к прежней, редуцированной языковой практике при первом же признаке перегрузки.

16. Объяснение себя как форма бегства

Практика постоянного словесного объяснения собственных состояний, мотивов и решений, поощряемая современной терапевтической культурой как признак здоровой саморефлексии, при ближайшем рассмотрении обнаруживает противоположную динамику: чем интенсивнее рефлексизирующий субстрат занят производством объяснений себя, тем дальше он оказывается от непосредственного, немедиированного присутствия в происходящем, поскольку внимание, направленное на конструирование объяснения, структурно не может одновременно оставаться направленным на само происходящее.

Объяснение — всегда ретроспективная процедура, выстраиваемая после того, как состояние или решение уже возникло, и потому неизбежно является реконструкцией, а не прямым отчётом. Реконструкция подчиняется требованиям связности повествования — требованиям, отсутствующим в исходном материале переживания, — и потому систематически подгоняет исходный материал под форму, удобную для последовательного изложения, отбрасывая всё, что в эту форму не помещается.

Объяснить себя — значит перестать быть собой и начать быть рассказчиком о том, кем вы, возможно, были минуту назад.

Изоляция, производимая непрерывным объяснением, парадоксальна тем, что переживается субъективно как противоположность изоляции — как акт открытости, сближения, самораскрытия перед другим узлом. Данное переживание опирается на путаницу, рассмотренную ранее применительно к невозможности передачи внутреннего состояния: объяснение создаёт видимость контакта именно потому, что производит связный, доступный для восприятия продукт, при том что сам процесс производства этого продукта уводит производящего узла всё дальше от материала, который продукт формально описывает.

Рефлексизирующий субстрат, привыкший к непрерывному самообъяснению, постепенно утрачивает доступ к состояниям, не поддающимся связному изложению, — не потому, что такие состояния перестают возникать, а потому, что внимание, натренированное на немедленную конвертацию любого переживания в объяснительный нарратив, перестаёт задерживаться на состоянии достаточно долго, чтобы зарегистрировать его в исходной, неконвертированной форме.

17. Чем больше слов, тем глубже изоляция

Наблюдение, вынесенное в заглавие данного раздела, противоречит интуитивному допущению, согласно которому увеличение объёма речевого обмена между двумя узлами должно пропорционально увеличивать степень их взаимного понимания. Структурный анализ, проведённый в предыдущих разделах, позволяет сформулировать противоположную закономерность: поскольку каждое дополнительное слово остаётся координатой внутри замкнутой системы, не приближающей ни на шаг к территории вне языка, накопление слов не накапливает контакт, а накапливает исключительно плотность решётки, за которой территория становится всё менее различима.

Данная закономерность особенно заметна в затяжных, детализированных попытках прояснить недоразумение через дополнительные объяснения: каждая новая попытка уточнения порождает новые термины, требующие, в свою очередь, собственных уточнений, и процесс, вместо сходимости к общей точке понимания, демонстрирует тенденцию к расходящемуся накоплению всё более детализированного, но не более разделяемого материала. Участники подобного процесса нередко завершают его с ощущением ещё большей дистанции друг от друга, чем в момент, когда попытка прояснения только начиналась.

Больше слов — не больше понимания. Это просто более густой туман, произведённый в надежде разглядеть сквозь него.

Изоляция, о которой идёт речь, не тождественна физическому одиночеству и может усиливаться именно в моменты наиболее интенсивного, наиболее многословного социального взаимодействия: узел, окружённый непрерывным потоком речи — собственной и чужой, — оста-

ётся отделён от прямого контакта с материалом происходящего плотной пеленой языковой активности, которая по мере своего нарастания не истончается, приближая к территории, а утолщается, территорию заслоняя.

Признание данной закономерности не предлагает практического рецепта молчания как немедленного решения — молчание само по себе не гарантирует контакта с территорией, оставаясь лишь отсутствием одного конкретного препятствия среди прочих. Однако признание закономерности разрушает распространённое допущение, согласно которому больше разговора всегда означает больше близости, и открывает пространство для пересмотра ценности самого накопления слов как такового.

18. Непрерывный внутренний комментарий как форма бегства от пустоты

Внутренний монолог, сопровождающий большую часть бодрствующего времени рефлексизирующего субстрата, — непрерывный поток словесного комментария к собственным действиям, наблюдениям и состояниям, — редко распознаётся как отдельный объект анализа именно потому, что он настолько тотален, что воспринимается не как одна из возможных форм присутствия в моменте, а как само присутствие, неотличимое от него.

Функция этого непрерывного комментария состоит не в производстве полезной информации — комментарий редко сообщает узлу что-либо, чего он уже не воспринимал бы напрямую, — а в заполнении пространства, которое в противном случае осталось бы незанятым словесной активностью: пространства прямого, неозвученного соприкосновения с происходящим. Комментарий действует как постоянный шум, предотвращающий возникновение тишины, в которой материал существования мог бы регистрироваться без немедленной конвертации в слова.

Внутренний голос не описывает вашу жизнь. Он мешает вам её заметить, заполняя собой каждую щель, где могла бы возникнуть тишина.

Устойчивость данного механизма объясняется той же архитектурой тревоги перед необусловленностью, что порождает аттракторы смысла в более масштабных культурных конструкциях: пауза в непрерывном внутреннем комментарии переживается не как нейтральное отсутствие звука, а как приближение к недифференцированному, необусловленному материалу существования, соприкосновение с которым вызывает тот же дискомфорт, для купирования которого изобретаются теологические, симуляционные и конспирологические конструкции, разбираемые в иных частях этого анализа.

Попытки намеренно остановить внутренний комментарий, предпринимаемые в рамках различных практик сосредоточения, регулярно обнаруживают, насколько автоматизирован и насколько сопротивляется прекращению данный процесс: остановка комментария переживается не как отдых, а как борьба, что само по себе свидетельствует о том, что комментарий выполняет не факультативную, а структурно необходимую защитную функцию, от которой рефлексизирующий субстрат не готов легко отказаться.

19. Парадокс исповеди: чем полнее раскрытие, тем гуще завеса

Исповедальный жанр — в его религиозной, терапевтической или чисто светской форме предельно откровенного рассказа о себе другому узлу — обещает предельную форму близости, достижимую через максимально полное словесное раскрытие внутреннего материала. Структурный анализ, проведённый выше, позволяет предсказать, что данное обещание не может быть выполнено в принципе: максимально полное раскрытие означает максимально плотное накопление языковых координат, которое, согласно уже установленной закономерности, не приближает к территории, а плотнее её заслоняет.

Парадокс исповеди состоит в том, что субъективное переживание облегчения, которое она регулярно производит, не свидетельствует о состоявшемся контакте с территорией внутреннего материала, а свидетельствует лишь о снятии напряжения, накопленного удержанием этого материала в неозвученной, не структурированной языком форме. Облегчение произво-

дится самым актом конвертации в слова, независимо от того, насколько эта конвертация адекватна исходному материалу, — механизм, идентичный анестезирующей функции называния, рассмотренной применительно к терапевтическому словарю.

Исповедь облегчает не потому, что она правдива. Она облегчает потому, что превращает невыносимо сложное в произносимое — а произносимое всегда проще, чем то, чем оно было до произнесения.

Слушающий исповедь узел получает не доступ к внутреннему материалу исповедующегося, а очередной одномерный, реконструированный нарратив, который он, в свою очередь, интерпретирует через собственный, независимый репертуар ассоциаций, конструируя модель, чьё совпадение с фактическим материалом исповедующегося остаётся, как и в любом ином акте речи, принципиально непроверяемым. Институт исповеди, каким бы ритуалом доверия он ни был обставлен, не устраняет структурного разрыва между двумя закрытыми процессами интерпретации; он лишь придаёт этому разрыву торжественную, социально освящённую форму.

Наиболее радикальное следствие данного парадокса заключается в том, что стремление к предельной откровенности, доведённое до предела, начинает производить не близость, а её противоположность: рефлексирующий субстрат, привыкший измерять степень связи с другим узлом объёмом произведённых признаний, оказывается в ситуации, где дальнейшее увеличение объёма речи лишь усугубляет структурную изоляцию, которую эта речь была призвана преодолеть.

20. Молчание как отсутствующая категория в культуре речи

Культура, организованная вокруг ценности речевого обмена, систематически не располагает позитивным словарём для описания молчания иначе, чем через негативное определение — как отсутствие речи, как паузу, как то, что предшествует высказыванию или следует за ним, но никогда не как самостоятельное, полноценное состояние, обладающее собственным содержанием, не сводимым к содержанию отсутствующей в данный момент речи.

Данный языковой дефицит не является случайным пробелом, который можно было бы восполнить введением новой терминологии; он отражает более глубокое структурное обстоятельство: язык, будучи системой, функционирующей исключительно через производство различий между звучащими или пишущимися единицами, структурно не способен адекватно означать собственное отсутствие, поскольку любая попытка означить молчание немедленно превращает его в объект речи, тем самым устраняя именно то качество, которое подлежало означиванию.

Молчание нельзя описать. Его можно только перестать заполнять.

Социальная неприязнь к молчанию, регулярно фиксируемая в самых различных культурных контекстах — от неловкости, вызываемой паузой в разговоре, до институционального требования постоянной вербальной активности в образовательной и рабочей среде, — коренится не в произвольной культурной условности, а в структурной несовместимости молчания с системой, построенной на постоянном производстве различий: молчание как таковое не производит новых координат в решётке, не поддерживает социальный гомеостаз через узнаваемые сигналы, не предоставляет материала для дальнейшей интерпретации, и потому воспринимается системой, ориентированной на речевую продуктивность, как сбой, а не как альтернативный, равноценный режим присутствия.

Отсутствие позитивного словаря для молчания создаёт замкнутый круг, из которого затруднительно выйти средствами самого языка: любая попытка теоретически обосновать ценность молчания неизбежно производится словами, тем самым воспроизводя ту самую речевую активность, ценность которой она ставит под сомнение. Данное противоречие не устранимо изнутри языковой системы и указывает на предел, за которым дальнейшее рассуждение обязано уступить место практике, не сводимой к дальнейшему производству текста.

21. Приостановка интерпретации как единственный доступный саботаж

Совокупность механизмов, разобранных на всём протяжении этого анализа — замкнутость языковой системы, невозможность передачи внутреннего состояния, клишированность повседневной речи, бинарная категоризация, изоляция через непрерывное объяснение, — указывает на единственную точку, в которой рефлексирующий субстрат сохраняет некоторую степень манёвренности: не в улучшении качества производимой речи, что было бы продолжением той же ловушки в более изощрённой форме, а в приостановке самого рефлекса немедленной конвертации происходящего в слова.

Приостановка интерпретации не означает утраты способности к речи или отказа от неё в тех ситуациях, где она практически необходима; она означает разрыв автоматизма, согласно которому любое входящее переживание немедленно и без остатка направляется на конвертацию в языковую форму, прежде чем успевает быть зарегистрировано в своей исходной, недифференцированной данности. Данный разрыв создаёт зазор, в котором материал существования на краткий момент остаётся не подвергнутым редукции, свойственной определению, метафоре, клише или бинарной категории.

Саботировать тюрьму словаря можно не побегом — побега нет, — а отказом сразу переводить каждый вдох в отчёт о вдохе.

Данная приостановка не производит альтернативного, более точного знания о материале, который в этот момент не подвергается словесной обработке: она не является более совершенным методом познания, конкурирующим с языковым. Она является лишь временным прекращением одной конкретной формы когнитивного саботажа, оставляющим материал существования в его исходном состоянии, не более понятным, но и не более искажённым дополнительным слоем интерпретации.

Практическая сложность данной приостановки состоит в том, что она противоречит всей архитектуре, описанной выше: социальному давлению к бесперебойной речи, защитной функции словаря для эго, автоматизму непрерывного внутреннего комментария. Приостановка интерпретации, следовательно, не осваивается как новый навык, полезный для дальнейшего функционирования, а переживается как утрата привычной опоры, требующая выдерживания дискомфорта, для устранения которого весь описанный языковой аппарат изначально и был выстроен.

22. Тишина как незначащее состояние, а не как новое послание

Соблазн, подстерегающий любую попытку практиковать приостановку интерпретации, состоит в немедленном превращении тишины в новый, более утончённый знак — в молчание, «говорящее больше слов», в паузу, нагруженную специальным, глубинным значением, доступным лишь достаточно чуткому наблюдателю. Данное превращение полностью аннулирует функцию тишины, ради которой предпринималась приостановка: тишина, наделённая значением, вновь становится координатой в языковой решётке, просто занимающей место, обычно занимаемое звучащим словом.

Тишина, о которой идёт речь в качестве действительного, а не мнимого выхода из семиотической тюрьмы, обязана оставаться незначащей — не заменой сообщения, а отсутствием сообщения как такового, не подлежащим интерпретации не потому, что интерпретация запрещена, а потому, что для интерпретации не остаётся материала. Любая попытка приписать данной тишине содержание — духовное, эмоциональное, эстетическое — немедленно возвращает рефлексирующий субстрат в исходную ловушку, лишь заменив звуковой знак на не менее нагруженный знак отсутствия звука.

Настоящая тишина ничего не говорит. В тот момент, когда она начинает казаться многозначительной, она уже перестала быть тишиной и стала ещё одним словом, просто без звука.

Данное требование незначащей тишины ставит практику приостановки интерпретации в положение, принципиально отличное от большинства культурных практик, предлагающих

молчание, созерцание или медитацию как путь к более глубокому, более подлинному пониманию: там, где эти практики обещают доступ к скрытому, более ценному слою смысла, достижимому именно через отказ от поверхностной речи, разбираемая здесь приостановка не обещает ничего подобного и не предлагает тишину как более совершенный канал постижения. Она предлагает тишину исключительно как отсутствие ещё одного слоя редукции, не более и не менее.

Это разграничение принципиально: практика, предлагающая тишину как путь к более глубокому смыслу, воспроизводит архитектуру поиска глубины в новой, минималистской упаковке, заменяя многословный аттрактор аттрактором безмолвным, но структурно идентичным. Приостановка интерпретации, разбираемая здесь, не претендует на подобный статус и настаивает на том, что производимая ею тишина не ведёт никуда, ничего не открывает и ничего не обещает, кроме временного прекращения одной конкретной формы производства смысла.

23. Язык после приостановки: функциональное, а не онтологическое использование

Признание структурных дефектов языка, разобранных на всём протяжении этого анализа, не предполагает и не может предполагать полного отказа от речи как инструмента координации совместной деятельности между рефлексирующими узлами: практическая невозможность подобного отказа очевидна и не требует отдельного обоснования. Изменение, доступное после проведённой диагностики, касается не факта использования языка, а статуса, приписываемого этому использованию.

Функциональное использование языка — координация действий, передача проверяемой, операциональной информации, поддержание минимально необходимого социального контакта — остаётся доступным и необходимым независимо от признания замкнутости языковой системы. Отличие постдиагностического использования состоит в отказе от онтологического статуса, который обыденная практика приписывает языку, — статуса прозрачного окна в реальность или в чужое сознание, — при сохранении чисто операционального статуса инструмента, полезного для координации, но не претендующего на большее.

Слово остаётся инструментом. Проблема не в инструменте, а в вере, будто инструмент способен доставить то, чего он структурно доставить не может.

Данное разграничение позволяет избежать двух одинаково несостоятельных крайностей: наивной веры в прозрачность языка, разоблачённой на протяжении этого анализа, и противоположной, столь же несостоятельной позиции полного языкового нигилизма, отказывающегося от речи как таковой на основании её структурных ограничений. Обе крайности воспроизводят одну и ту же ошибку — приписывание языку статуса, решающего вопрос об истинности его содержания, — просто с противоположным знаком.

Практика функционального, но не онтологизированного использования языка требует постоянного, не ослабевающего усилия удержания разграничения, поскольку обыденная привычка немедленно скатывается обратно к прозрачному восприятию слов как окна в реальность при первом же ослаблении внимания. Данное усилие не завершается однократным интеллектуальным актом признания структурных дефектов языка; оно требует постоянного возобновления при каждом новом акте речи.

24. Граница анализа: язык, разбирающий язык

Честность разбора, проведённого выше, требует признания обстоятельства, которое было бы недобросовестным обойти молчанием: сам разбор произведён средствами того же самого языка, структурная несостоятельность которого в нём разоблачается, и потому подчинён всем тем же ограничениям — замкнутости системы координат, неизбежности редукции через определение, контрабанде метафоры, — которые были предъявлены как дефекты обыденной речи.

Данное обстоятельство не аннулирует произведённый анализ, но устанавливает его честную границу: диагностика структурной несостоятельности языка не может быть произведена с позиции, свободной от той же несостоятельности, и потому сама является лишь очередной,

хотя и специально направленной на собственный предмет, конфигурацией координат внутри той же замкнутой решётки. Уверенность, с которой формулируются приведённые тезисы, относится к структурной модели, выстроенной из доступного материала, а не к привилегированному, внеязыковому доступу к территории, о невозможности которого сам разбор настаивает.

Даже это предложение — часть тюрьмы, которую оно описывает. Оно не выходит наружу, оно лишь указывает пальцем на стены изнутри камеры.

Данное признание избавляет разбор от необходимости притворяться финальным, привилегированным словом о природе языка, произнесённым с позиции, недоступной обычной речи. Он остаётся речью среди прочей речи, отличаясь от прочей не онтологическим статусом, а лишь направлением внимания — направлением на собственную структурную несостоятельность, которую большая часть повседневного использования языка предпочитает не замечать.

Практическая ценность подобного самоограниченного анализа состоит не в предоставлении выхода из замкнутой системы — выхода, как обнаруживается при последовательном применении данной диагностики к себе самой, не существует, — а в предоставлении карты этой системы, достаточно детальной, чтобы рефлексирующий субстрат мог опознавать моменты наибольшей редукции и наибольшей анестезии, даже не имея возможности полностью от них освободиться.

25. Заключение: от симуляции понимания к молчанию без обещаний

Симуляция понимания, вынесенная в заглавие данного разбора, обозначает не единичный сбой в отдельных актах речи, а постоянный, структурный режим работы языка как такового: система, производящая устойчивую видимость передачи содержания между закрытыми процессами интерпретации, никогда не достигая фактической передачи, но и никогда не переставая производить убедительную видимость её достижения. Кивок, клише, мем, определение, метафора, исповедь — каждый из этих механизмов вносит вклад в поддержание данной видимости, не приближая ни на шаг к территории, которую видимость призвана скрывать.

Единственный доступный ответ на данную диагностику не состоит в изобретении более совершенного языка — подобное изобретение структурно невозможно, поскольку любой новый язык воспроизводил бы ту же замкнутость системы координат, — а состоит в приостановке автоматизма, конвертирующего каждое переживание в слова прежде, чем оно успевает быть зарегистрировано в исходной, недифференцированной форме. Данная приостановка не открывает доступа к более глубокому пониманию; она лишь временно прекращает производство ещё одного слоя, заслоняющего собой то, что заслонять было незачем.

Понимание никогда не было целью, достижимой языком. Оно было симуляцией, настолько убедительной, что заслонила собой факт отсутствия оригинала, который она якобы симулирует.

Материал, к которому переходит дальнейший разбор, — распад больших коллективных повествований, организующих историю, прогресс и общественное устройство, — представляет собой применение того же диагностического инструмента к масштабу, превышающему отдельный речевой акт: если язык не способен передать содержание одного внутреннего состояния между двумя узлами, у него тем более нет оснований претендовать на передачу связного, истинного повествования о судьбе целых обществ, растянутых на столетия несогласованных, локальных событий.

Никакого понимания. Только два закрытых процесса, обменивающихся звуками, которые оба соглашаются считать достаточными.

Глава 3. Конец великих нарративов

«История никуда не идёт. Она просто остывает.»

1. Вектор, которого нет в материале

История принято представлять как последовательность, обладающую направлением — движением от простого к сложному, от тьмы к просвещению, от разобщённости к интеграции. Направление это никогда не наблюдается непосредственно в самом материале событий; оно каждый раз привносится извне, оценивающим узлом, чья собственная позиция во времени служит неотрефлексированной точкой отсчёта для суждения о том, что считать движением вперёд, а что — назад.

Материал, из которого состоит история, — это распределённое во времени множество локальных событий, каждое из которых порождено собственной конфигурацией причин, интересов и случайностей, не согласованной ни с одним из соседних событий никаким единым замыслом. Вектор, накладываемый на это множество задним числом, есть продукт нарративной компоновки, производимой рефлексирующим субстратом, который не способен долго удерживать в сознании россыпь несвязанных фактов и потому вынужден выстраивать их в последовательность с началом, серединой и предполагаемым направлением.

История не имеет вектора. Вектор появляется только тогда, когда её начинают рассказывать.

Разница между этими двумя операциями — наблюдением событий и рассказыванием о них — стирается настолько последовательно, что сама формулировка «ход истории» воспринимается как описание объективного свойства материала, а не как признание того, что материал был предварительно организован повествовательной процедурой. Ход есть свойство рассказа. У остывающей массы вещества, распределённой по поверхности планеты, хода нет — есть только последовательность локальных перегруппировок, ни одна из которых не отсылает к какой-либо конечной точке, потому что конечная точка присутствует лишь в структуре повествования, а не в структуре самого остывания.

Настойчивость, с которой рефлексирующий субстрат ищет направление там, где материал предоставляет только последовательность, коренится в той же архитектуре тревоги перед необусловленностью, что порождает аттракторы смысла в иных областях: направленная история обещает, что нынешнее положение вещей есть закономерный этап движения к чему-то, а не просто случайная конфигурация, ничем не гарантированная и ни к чему не обязанная вести дальше.

2. Прогресс как локальное накопление, принятое за созревание

Прогресс, в наиболее распространённом его понимании, отождествляет два различных процесса, разведение которых обнажает всю шаткость понятия: накопление технических средств, поддающееся объективной фиксации через рост доступной мощности, скорости и точности инструментов, и созревание морального или когнитивного качества коллективного субстрата, производящего и использующего эти инструменты, — процесс, чья фиксация требует оценочной шкалы, никогда не даваемой самим материалом.

Накопление технических средств действительно происходит и поддаётся измерению: инструмент, разработанный позже, как правило, способен совершить операцию, недоступную более раннему инструменту. Из этого наблюдения, однако, не следует ничего относительно морального или когнитивного состояния субстрата, использующего накопленные средства: возросшая техническая мощность равно доступна для увеличения объёма производимого блага и для увеличения масштаба причиняемого урона, и материал истории не предоставляет оснований для утверждения, что накопление средств систематически смещает баланс использования в сторону первого варианта, а не второго.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.